



Илья Олейников

**Жизнь как песня,
Всё через Жё**

мудак у меня каша шить. Не каша шить
те-носе. Свою. Слышаю, как майюгаши
комко офицер в палатке, как ухаюи
как всей воевое лесное зерье.

Взрывает поф'ехал уазик. Из уазика му
кожи. Вина, что в форме, а какого з
вина. Нога же. А фонарик не не
кравил. — Свой-говору.

Кароль «ласчозке. Отзыл? (4)
и мне — «сокол! И уфел не мене.
ой, говору-сбренелъ буру. Последний раз сире
о — кароль «ласчозке! Ой зыл?
и мне оиель: — Сокол.

профолкаел ирти. А х ии, фу маю, вращена.
мистебвало шить-носе ириво к его хси,
прюку. И ии тошко как эица шитько
елкитва. Ну ои еси естелио, иеи ика
зи зерье. «Тук ои всей своей иуи
зерье — зрель. А мой шить-носе,
ои всей физикем зерель, но иперце
профолкаел свои побечити иеи в

Илья Олейников

**Жизнь
как пестня,**

или

**Всё
через Жё**

ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА
«Астрель - СПб»
Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
О-53

Дизайн обложки: *О. Бегак*
Шарж на обложке: *И. Луккин*
Рисунки: *О. Гофман*

Олейников, И.

О-53 Жизнь как пестня, или Всё через Жё / И. Олейников. — М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2008. — 285, [2] с.

ISBN 978-5-17-046429-6 (ООО «Издательство АСТ») (желт. обл.)

ISBN 978-5-9725-0893-8 (ООО «Астрель-СПб»)

ISBN 978-5-17-046428-9 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-9725-0949-2 (ООО «Астрель-СПб»)

«Мне нечего роптать на прошлое. Судьба подарила мне красивую женщину, ставшую моей женой, талантливого сына, классного внука, множество хороших людей и, наконец, профессию, о которой я мечтал с детства. Однако это вовсе не значит, что все у меня обстояло благополучно и я прожил свои шестьдесят, как крыловская стрекоза. Это не совсем так. Точнее, совсем не так», — признается Илья Олейников и, как пестню поет, — рассказывает о детстве и посрамленной первой любви, о «штурме» Москвы и приобщении к искусству, об изнанке актерской профессии и пользе пьянства, а также раскаивается в некоторых злодеяниях...

Автор вовсе не претендует на достоверность изложенных фактов — слишком много воды утекло с тех пор, — но ему почему-то кажется, что именно так все и было.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 28.02.08.

Формат 70х90¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21,06. Тираж 5 100 экз. Заказ 2282.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.007027.06.07 от 20.06.2007 г.

ISBN 978-985-16-2557-0
(ООО «Харвест») (желт. обл.)
ISBN 978-985-16-2558-7
(ООО «Харвест»)

© И. Олейников, 2007
© О. Гофман, рисунки, 2007
© ООО «Астрель-СПб», 2007

Олейникову

Воспоминания твои — это не написанная книга.

Это жизнь, записанная в виде книги.

У каждого такая книга за душой.

Так мы и жили.

Не теми, кем были.

Чтобы кем-то стать.

Перестать быть собой — это главное.

Палачи работали секретарями.

Артисты — инженерами.

Писатели — дворниками.

Евреи — русскими.

Антисоветчики — большевиками.

Главное — не быть самим собой.

От этого мат, водка, ложь и хохот в конце от всего услышанного и слезы от всего увиденного.

И воспоминания в шестьдесят лет, когда наступил первый покой, предвестник второго.

И первое окружение, которое любит тебя, сменившее тех, кого любил ты.

Много мата в авторе.

Нечем ему заменить.

Мы за ценой не постоим.

Отдадим свою жизнь дешевле, чем она досталась нам.

Смешнее читать, чем жить.

Папа и мама смешные, как автор.

Но, видимо, любящие.

Очень смешная жизнь в результате у Ильи Олейникова из «Городка».

Так мы писали, так и какали, так и трахались.

А потом разбрелись по земному шару.

И всюду чужие.

И не евреи.
И не артисты.
И не интеллигенты.
И не рабочие.
И не коммунисты.
И не мужчины.
Были не теми, кем были, и стали не теми, кем хотели.
И доверять нам нельзя.
А теперь читаем про себя.
Смеемся про себя.
Внуков рассматриваем.
Может, их жизнь выйдет за наши пределы.
Какое может быть предисловие к жизни?
Это послесловие, в котором мы и живем.
Целую,

Михаил Жванецкий

Действующие лица:

КЛЯВЕР — инкогнито, он же я
Илья ОЛЕЙНИКОВ — автор, он же Клявер
ИРИНА — жена автора
МАМА — мама автора
ПАПА — папа автора
Юрий СТОЯНОВ — ум, честь и совесть автора
Роман КАЗАКОВ — потенциальный внук Троцкого
Геннадий ХАЗАНОВ — настырный эрудированный юноша 19 лет
Андрей МИРОНОВ — москвич
Владимир ВИНОКУР — гастролер, часто бывает за рубежом
Евгений ВЕСНИК — любимый педагог автора, человек широкой природы
Иван ПЕРЕВЕРЗЕВ — кинозвезда
Алексей ДИКИЙ — артист МХАТа, актер-легенда
Николай ГРИБОВ — артист МХАТа
Василий ЛАНОВОЙ — седеющий красавец, попавший в неловкое положение
Юрий НИКОЛАЕВ — телеведущий, часто хочет есть
Владимир ЛЕНИН — вождь мирового пролетариата
Фидель КАСТРО — вождь чернокожих
Иосиф СТАЛИН — еще один вождь
Герберт УЭЛЛС — английский писатель
Максим ГОРЬКИЙ — итальянский писатель
Аркадий АРКАНОВ — русский писатель
Валерий САВЕЛЬЕВ — рядовой, симулянт, музыкант
Майор ЧУМАКОВ — идиот
Старший лейтенант ПЕНЬКОВ — законченный идиот
А также:
президенты, кинорежиссеры, контролеры, генералы, военврачи, космонавты, студенты, ксилофонисты, женщины, евреи, Иван Грозный, Наполеон и многие другие

*Место действия — вся страна и кусочек заграницы
Время действия — наши дни и чуточку раньше*

*Жене, сыну, внуку, сестре,
а также светлой памяти моих родителей
посвящается эта книга*

Вступление. Просто вступление

Дорогой читатель! Только что ты раскрыл мою книгу, за что тебе спасибо. Спасибо тебе за то, что ты ее раскрыл, и за то, что ты ее купил, потому что, если бы ты не купил, ты бы ее не раскрыл, а раз не раскрыл, и не прочел бы. Тем не менее ты все-таки купил ее и раскрыл, за что тебе большое спасибо. А ведь не купи ты ее — она бы так и осталась нераскрытой и непрочитанной, и мне было бы неприятно осознавать, что этот экземпляр остался непрочитанным, а значит, некупленным и нераскрытым. Но ты все-таки купил ее и раскрыл. И я знаю это достоверно, потому что, не купи ты ее и не раскрой, ты бы не прочел эти строки. Но не будем останавливаться на достигнутом. Попробуй перевернуть следующую страницу и подсмотреть, что там у этой книги под подолом...

Я вовсе не претендую на достоверность изложенных фактов, слишком много воды утекло с тех пор. Может быть, это было не так, может, совсем не так, может, не совсем так, но мне почему-то кажется, что именно так все и было.

Еще одно вступление. С легким привкусом сивушных масел

Я вдруг начал себя очень неуютно чувствовать. Дурь всякая в голову лезет. Страхи. Дискомфорт.

Так продолжалось целый год.

«Что это?» — думал я.

— Алкогольная зависимость, — лукаво улыбаясь, сказала наша знакомая Галочка, по которой в двенадцать лет шарахнула молния. С того момента она стала видеть все и всех. Как рентген.

— Совершенно верно! Исключительно алкогольная и исключительно зависимость! — подтвердила диагноз с истинной убежденностью ученого другая наша знакомая — Лариса. Несмотря на то что молния в Ларису не попадала, она все-таки умудрилась стать дипломированным врачом.

— Да вы никак озверели, бабы? — возмутился я. — Какая, на фиг, зависимость — вы что, забыли, как я пил? Рюмку днем, две-три вечером, триста граммов в гостях и двести граммов по воскресеньям! Много, по-вашему?

— Немного, — вежливо соглашались дамы. — Если бы ты не делал это каждый день в течение тридцати лет. Так что пора завязывать, запойный ты наш.

Я завязал. Полгода я, завидя сверкающие водочные витрины, на корню гасил любые проявления так отрицательно повлиявшей на меня алкогольной зависимости.

Однако дурь не проходила, и дикие идеи продолжали посещать меня с завидным постоянством. И тогда я сел за письменный стол. Сел с единственной целью — отвлечься. Положил рядом огромную пачку сверкающей бумаги, направил на себя прохладную вентиляторную струю, глубоко затянулся сигаретой, затем энергично приподнял ручку и в этом энергично-приподнятом состоянии находился минут сорок, ожидая, пока первая спасительная фраза придет в мою порядком взбаламученную голову.

Время от времени я поглядывал на белоснежные, как новобрачная простыня, листы, мысленно представляя, как они они постепенно заполняются Буковками. Видение приятно успокаивало, однако фраза не шла. Я встал, прошелся по комнате, еще покурил — все тщетно. Фраза не приходила. За окном пьяный мужик косил траву.

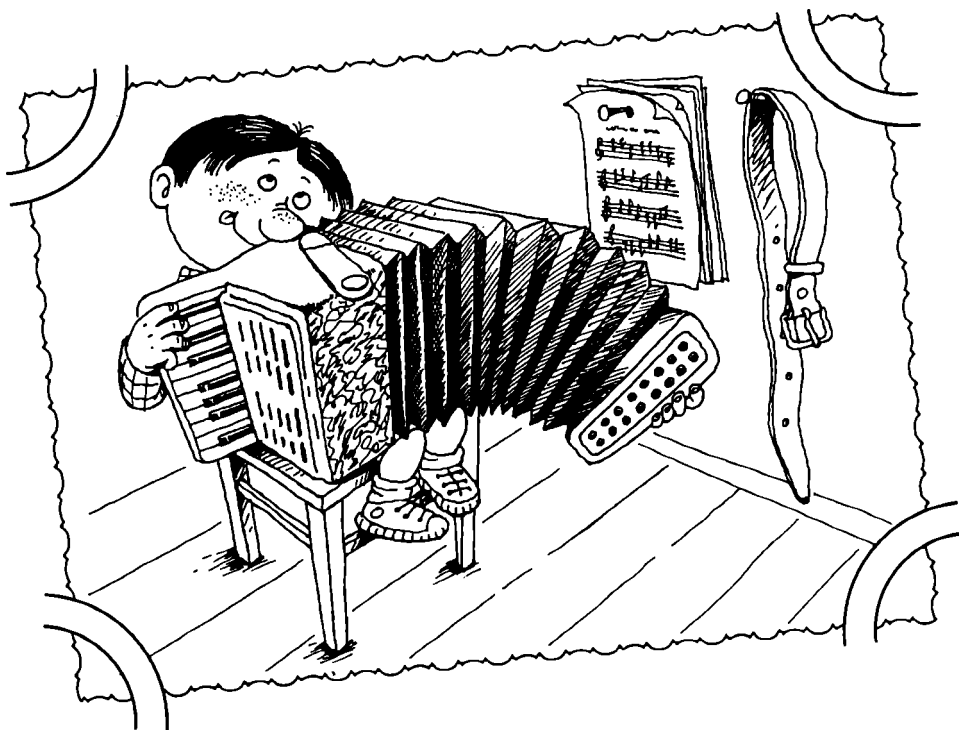
«Под Толстого косит», — уныло подумал я и снова энергично взялся за авторучку.

Бесполезно.

Почему-то вспомнился Байрон, так мало проживший и так много написавший. Затем перед глазами немым укором величаво проплыл многотомный словарь Брокгауза и Ефрона, но добил меня неожиданно появившийся силуэт публичной библиотеки, в которой, несмотря на ее гигантский размах, так и не нашлось места для моей книжонки. И вовсе не по причине того, что дирекция обошла ее своим вниманием, а лишь потому, что она так и не была написана.

И вдруг что-то произошло. Как будто щелкнул невидимый тумблер, и я, как на телеэкране, увидел себя. Себя маленького...

ГЛАВА 1,



**В которой я признаюсь,
что когда-то был маленьким**

В коридорах детства я передвигаюсь достаточно неуверенно. Точнее, недостаточно уверенно. Ну, так, передвигаюсь как-то — ни шатко ни валко. Шлындраю по закоулкам памяти туды-сюды... И стоит только всплыть, к примеру, некоему пятну, да не простому, а многообещающему пятну, и я начинаю в него вглядываться, вдруг — бац! — и темнота... Мерзкая, хлипкая темнота. И только круги перед глазами — как будто кто-то неаккуратно приложился к темечку кувалдой.

Вот что я помню явственно, так это безуспешные попытки родителей во что бы то ни стало приобщить меня к искусству.

Мама, например, блистала не столько на подмостках сцены, сколько на подмостках кухни, а папа вообще имел к театру более чем отдаленное отношение. Если все это представить себе достаточно выпукло, то становятся понятными настойчивые попытки родителей приблизить к прекрасному хотя бы меня. Может, в них говорило неосознанное стремление самим блистать во вспышках фотокамер? Может быть.

Так или иначе, усилия они прилагали титанические. С утра до вечера меня кормили записями мелодий из индийских фильмов, очень модными в те удивительные годы, а также ариями и ариетками из всевозможных опер и оперетт. Наконец папа решил, что я достиг такой степени совершенства в воспроизведении перечисленных выше произведений, что было бы преступным не поде-

литься этими достижениями с человечеством. Не со всем, конечно, человечеством, а с лучшей его частью, то есть папиными друзьями. В доме стали появляться гости.

В нашем доме всегда привечали гостей, но теперь их приход имел абсолютно практическое значение — они шли знакомиться с чудом. Этим чудом был я.

Все происходило так: когда гости брезгливо оглядывали только что ими уничтоженный стол, мой отец вскакивал и со словами «Сейчас мой мальчик споет нам что-нибудь значительного!» швырял меня на стул. Я, пытаясь словить равновесие, выплевывал на гостей накопленные мной пластиночные цитаты, фрагменты, диалоги, корча рожи и вытанцовывая на заготовленном мне крохотном плацдарме всякие невообразимые па. Гости изображали восторг. Еще бы! После такого стола...

Каждый считал своим долгом прихватить меня за щечки и тягать их в разные стороны с какой-то нечеловеческой силой. К концу этой одобрительно-уничтожительной процедуры щечки мои из розовых превращались в синюшные и только через несколько дней приобретали свойственный им ровный цвет. Поэтому гостей я не любил. Как, впрочем, и музыку, которую я считал своим личным врагом.

Мама с папой так не считали. Мне был нанят учитель по игре на скрипке. Я думаю, он был неопытным педагогом, не познавшим всех тайн детской души. Он сказал мне: «Мы начнем наше обучение с игры на этом замечательном, божественном инструменте с гамм, а уже чуть попозже возьмемся за прэлэстную пэсенку „Петушок“».

Я, конечно, не знал, как звучит ни сама гамма, ни эта «прэлэстная пэсенка», но название «Петушок» настолько меня заинтриговало, что мое знакомство с «божествен-

ным инструментом» я решил начать не с гамм, а именно с «Петушка».

Учитель воспротивился и возразил, что так не бывает. Тогда воспротивился я. Наш спор продолжался довольно долго. Все аргументы учителя подавлялись мной беспощадно, и, наконец, не выдержав напряжения, учитель вскочил и скрылся раз и навсегда.

Тогда в дом был приглашен еще один наставник — аккордеонист Эдуард Макаров. Эдуард был белокур, элегантен, пах духами «Красная Москва» и, дабы не вызвать сомнений у окружающих в своей интеллигентности, время от времени вынимал из кармана пилочку и наяривал ею по своим и без того идеально ровным коготкам.

В глазах у Эдуарда скопилась буйная похоть. В них отражалось огромное количество женщин, поверженных им на своем нелегком жизненном пути, и, когда он разговаривал с мамой, становилось понятно, что и ей вряд ли удастся избежать его дивных сексуальных чар и что она падет в самое ближайшее время. Наконец, осознав, что он приглашен не для того, чтобы разрушить наш семейный очаг, а совершенно в других целях, он устало спросил:

— А где, собственно, мальчик?

— Я здесь, — тихо ответил я, подавленный величием аккордеониста.

— Ну что ж, мальчик... Для начала посмотри на это.— И он вытащил потрепанную черно-белую афишу, сверху которой было написано «КУБАНСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР».

Под названием был изображен сам хор. Так сказать, непосредственно. Человек триста. От частой демонстрации афиши вся эта толпа слилась в огромное потертое

пятно, из которого редкими лепестками вытарчивали отдельные физиономии.

— Видишь меня, мальчик?

В голосе Эдуарда сквозила неподдельная гордость.

— Не вижу,— искренне ответил я.

— То есть как это «не вижу»? Что значит «не вижу»?!

Эдуард был потрясен.

— А это кто, по-твоему? — И он раздраженно ткнул своим идеальным коготком в грязное пятнышко.

Пятнышко это можно было принять за что угодно, только не за лицо Эдуарда. Но я ощутил, что если опознание не состоится и на этот раз, то Эдуард этого не перенесет (а может быть, и не переживет).

— Теперь вижу,— прошептал я.

— То-то,— удовлетворился Эдуард.

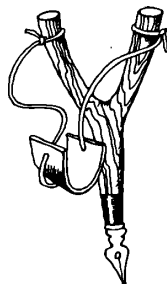
Статус-кво был восстановлен.

— Теперь, когда ты понимаешь, кто твой учитель, я думаю, мы найдем общий язык,— продолжил он.

Как ни странно, Эдуард обучал меня достаточно толково, и я научился извлекать из аккордеона звуки, не очень портившие южный ареал.

Папа воспрял. Он устроил мне экзамен, результаты коего его вполне удовлетворили, и в дом с новой силой хлынули гости. Вторая волна. Правда, папу несколько раздражало то, что он не может (как прежде) размашисто брякать меня о стул. Очевидно, он догадывался, что в момент моего соприкосновения с мебелью центр тяжести неизбежно переместится в сторону аккордеона, что немедленно вызовет мое падение. Прости меня, Господи (я очень люблю своих родителей), но кажется мне, что в этот момент папа думал не о сохранности меня, а о сохранности инструмента. Инструмент действительно был дорогой. Немецкий. Трофейный.

Надо честно признаться, что моя игра на аккордеоне не вызывала у гостей былого прилива энтузиазма. И за щечки меня никто не хватал. Да и вундеркинд стал старше. Это заметил и отец и после очередного полуфинаско, раздраженно бросив в мою сторону: «Я просчитался! Из говна пули не сделаешь», — отстал от меня раз и навсегда. Детство заканчивалось. Начинались будни.



ГЛАВА 2,



**В КОТОРОЙ Я ПОМИНАЮ
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ И СКОРБЛЮ
О ПОСРАМЛЕННОЙ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ**

Первое свое первое сентября помню плохо. Помню себя стоящим в первой шеренге с буйным букетом роз (розы были баснословно дешевы), помню напутственную директорскую речь, из которой я понял только одно: школа — наш дом на десять лет. Это немедленно вызвало у меня ассоциацию с тюрьмой, что было странно для ребенка моего возраста. Тем более такого культурного ребенка.

Еще помню радужную, ослепительную листву школьными окнами, солнечных зайчиков на ученических досках, украшавших классные стены.

Помню чувство освобождения от родительской опеки. Помню загадочную фразу Киммельмахера, потянувшую нашу физичку (это уже шестой класс):

— ...Солнце движется по эвклёптике...

Помню (опять первый класс), как возвращался из школы, извоженный в чернилах, словно я не вгрызался на занятиях в гранит науки (это было совершенно исключено), а часами стоял под чернильным душем. Я врывался в дом, яростно забрасывал в самый дальний угол портфель, вызывавший у меня крайнюю степень неприязни и с криком «Мама, я сегодня четверку получил!» улепестывал на улицу.

Вслед за мной из комнаты вылетал мамин крик:

— По какому предмету, сыночек?

— Два по арифметике и два по грамматике! — неслышимо от меня в сторону комнаты. Из комнаты, совсем уже слабо, доносились отголоски маминых проклятий по этому

безрадостному поводу, но мне было уже все равно. Я был на У-ЛИ-ЦЕ!

Улица в маленьком провинциальном городе — совсем не то, что улица в Москве или, скажем, в Петербурге. Провинциальная улица — это что-то до болезненности въедливое. Въедливое и знакомое от камня мостовой до выбитого зуба в уже и без того выщербленном рту постоянно пьяного дворника Жоры. Провинциальная улица — это нечто огромное, как сам мир, и интимное, как блудливая мысль о первой, еще не состоявшейся женщине. Сам воздух этой улицы был какой-то необычный, не имевший ничего общего с воздухом соседней улицы, потому что воздух соседней улицы был воздухом именно соседней улицы, а не нашей.

Улица, в первую очередь, манила меня футболом. Футбол я любил фанатически. Зеленый газон, свисток судьи, предвещающий начало матча, мяч, трепещущий в сетке, — все это возбуждало меня, как возбуждает алкоголика недопитая бутылка.

Однажды я встретил на улице знаменитого защитника Володю Ларина. Володю Ларина весь город носил на руках, а его именем одинаково бредили как взрослые дяди, так и безусые пацаны. От волнения у меня пересохло в горле. Мне очень хотелось, чтобы Ларин сказал хоть что-нибудь. Именно мне сказал. Во что бы то ни стало. Ларин стремительно приближался. В башке грохотал сумасшедший разладившийся оркестр, и, когда мы наконец поравнялись с Лариным, я испуганно выдохнул:

— Который час?

— Пошел на хер, — ответил Ларин, даже не повернув в мою сторону свою красивую, аккуратную брюнетную голову.

Два чувства боролись во мне. Первое говорило: «Ну вот ты и добился. Он с тобой поговорил. Ну и чудненько». «Чё чудненько? — возмущалось второе. — Тебя послали, а ты: „чудненько!“»

И все-таки тщеславие взяло верх. И, повстречав одноклассника, я небрежно заметил:

- А меня сейчас Ларин на хер послал.
- Да ну?! — не поверил тот. — Поклянись!
- Чтоб мне сдохнуть! — поклялся я.

Весь следующий день я был героем школы. Только и было разговоров: «Ты слышал, вчера Ларин Илюху на хер послал!» И даже не знавшие меня шестиклассники уважительно показывали на меня пальцем и говорили:

— Вот идет тот самый чувак, которого Ларин на хер послал.

Я был польщен повышенным вниманием к моей персоне. Не скрою: это приятно волновало.

...Итак, футбол. Я мог гонять мяч часами, сутками и даже неделями. Мне было совершенно все равно где и с кем — мне был важен сам процесс игранья.

Отец мой любил футбол никак не меньше. В футболе ему не нравилось одно — видеть, как я себя в нем сжигаю. Во всяком случае, так ему казалось.

— Что ты носишься, как какой-то самашедший? Тебе что, больше нечего делать? — возмущался он. — Так пойд и стукнись головой об стенку. Стенке будет приятно, можешь не сомневаться.

Я не обращал на эти прозрачные намеки никакого внимания. А зря.

...Играли мы как-то «контора на контору». Так это у нас называлось. Мяч у меня в ногах. Я ощущаю его каждым нервом своего полуистлевшего полуботинка. Я стремительно рвусь к воротам Моньки Штивельмана. У Моньки от жуткого предчувствия близкого гола глаза расширяются до размеров теннисного шарика. Я уверенно обхожу все подставленные ножки. Я дриблингую. Никакая сила не может меня остановить. Я нащупываю головой удар. И вдруг... бац... хрясь... треск ткани... Это

внезапно появившийся отец разрывает на мне трусы, как разрывает финишную ленточку победитель стайерского забега. То есть буквально на мелкие кусочки. Отец обнажает мое еще не успевшее окрепнуть мужское естество. Обнажает уверенно, как бы говоря окружающим: «Товарищи! Вот я, а вот мой сын. Мне скрывать нечего. Не правда ли — мы очень похожи? И не только лицом».

Если бы на пустыре, кроме нас, никого не было, я бы пережил этот конфуз легко и просто. Но позвольте, господа! На трибуне, состоявшей из нескольких дырявых бочек и ржавых труб, сидели дамы. И не просто дамы. На трибуне сидела Таня Еремина — тайная любовь моя, которой я давно хотел открыться. Но после того, что она только что увидела, открывать ей было решительно нечего. Все было раскрыто моим разгневанным папочкой.

Господи, как же я был в нее влюблен! Я любил ее аккуратные, в синих шерстяных чулочках, ножки, любил ее раскосые татарские глаза, ее белокурую челку, ее маленькие ушки и тонкую шейку. Я любил ее всю, со всеми недостатками, которые я упрямо не замечал, и достоинствами, которые я всемерно преувеличивал. Как же мне хотелось ее поцеловать! Не было ночи, чтобы я, ложась спать, не представлял себе этого поцелуя — долгого, как летние каникулы, и сладкого, как варенье. Надо же, какие страсти бушевали в душе десятилетнего мальчика.

Рядом со школой рыли котлован под пятиэтажку. В котловане было метров пятнадцать ширины и метров восемь глубины. Ну и придумали мы идиотскую мальчишескую забаву — кто дальше прыгнет. А кто не прыгнет, тот козел. Перспектива остаться в памяти товарищей четвероногим рогатым нас не возбуждала, а потому прыгали все. Разбегались от самого забора школы, пролетали добрую половину котлована и по синусоиде мягко приземлялись на теплый и почему-то всегда влажный песок. Во

время полета кто-то чувствовал себя отважным летчиком, кто-то — парашютистом, кто-то — космонавтом — в общем, чем-то орнитологическим. Чувство восторга захлестывало и зашкаливало. Во-первых, потому что мы действительно летели, а во-вторых, потому что смогли себя победить. Нельзя сказать, что я был лидером этого летучего психоза, но и аутсайдером я тоже не был. И вот однажды, готовясь к очередному лётному маршруту забор — котлован — дно, я увидел Таню. Во мне все разыграло. Вот сейчас я должен доказать ей, что я мужик. Вот сейчас. И она, увидев это, поймет и полюбит меня. Сразу и безоговорочно. Я чудовищно разогнался и взмыл. Разогнался я действительно чудовищно, потому что, увидев, с какой гигантской скоростью на меня надвигается вторая стенка котлована, я понял, что немедленно разобьюсь, если не сумею прервать это лихое порхание. Дабы сбить скорость, я начал сучить в воздухе ножками и ручками и в последнюю секунду сумел-таки избежать столкновения. Вниз я рухнул сильно раненной птучкой, прямо на копчик. Боль была адской, дышать стало нечем, ребра подозрительно похрустывали, а перед глазами стояла пелена. «Какая нелепая смерть», — успел подумать я. Но мне не суждено было умереть — меня спасла Еремина. «Ты не разбился?» — услышал я Танькин голос. И в этом голосе было столько неподдельной тревоги, что моя хворь прошла разом. «Мне не больно! — закричал я на весь котлован. — Мне совсем не больно!» И, с трудом поднявшись, выковылял наружу. Это был единственный раз, когда Еремина обратила на меня свое внимание.

ГЛАВА 3,



**В которой я пытаюсь
изобразить из себя Казанову,
но ничего не получается**

Поговорим о странностях любви. Влюблялся я часто и внезапно, и так же часто и внезапно это упоительное чувство покидало меня.

В первый раз это случилось со мной в пятилетнем возрасте. Моей избранницей стала Анечка. Анечка жила в соседнем дворе. Длинные ее волосы распускались до талии, а на прелестной головке сверкал пушистый белый бант. Когда Анечка, сидя в песочнице, случайно дотрагивалась до меня острым локотком, сердце мое сладко ныло. Но однажды Анечка заболела стригущим лишаем и была обрита наголо. Когда Анечка предстала передо мной в виде маленького лысого монстра, любовь моя тут же испарилась.

Прошло пятьдесят лет. Мы с Юрой поехали на гастроли в Америку. После концерта в Нью-Йорке я, зайдя в примерную, увидел некое шарообразное создание, с трудом втиснутое в гипюровое платье, на плечи которого было наброшено слегка поеденное молью боа.

Шарообразное создание при виде меня сделало что-то вроде книксена, при этом мебель в комнате слегка затряслась.

— Илья, — жеманно пропела она, — вы меня не узнаете?

— Пока нет, — сказал я.

— Ну присмотрицесь повнимацельней.

— Ну присмотрелся, не узнаю.

— Ну как же вы могил меня забыць? — продолжала она курлыкать свою нежную песню. — Вы вещь даже в любви мне объяснялись.

— Ну мало ли кому я объяснялся,— сказал я, совершенно не представляя, где, когда и сколько я выпил, чтобы признаться в любви этому гипюровому чудовищу.

— Но я у вас была первая! — драматически вскрикнула она.— Как это можно забыть ваще!

— Первая?! — ужаснулся я.— В каком смысле первая?

— Ну, первая, которой вы объяснились,— сказала она и потупила коровьи глазки.— Это произошло в песочнице.

— В песочнице? — И тут страшная догадка пронзила мое сознание.— Неужели Анечка?

— Ну наконец,— облегченно выдохнула внезапно вынырнувшая из прошлого Анечка.— А вы меня не узнали. Ай-ай-ай-ай-ай-ай,— сокрушалась она.— Как же вам не стыдно!

— Ну, э-э-э... Прошло столько времени, э-э-э...— оправдывался я непонятно по какой причине.— Вы... э-э-э... слегка изменились... э-э-э... так что ...э-э-э... вполне естественно ...э-э-э... что я ...э-э-э... вас ...э-э-э...

И дальше я продолжал бляеть что-то уж совершенно непотребное. Не дай вам бог, друзья, женщину, которую вы любили в молодости, встретить на склоне лет. Это страшно. В такие минуты приходит осознание бренности не только воспетого поэтами чувства, но и самого бытия. Я смотрел на нее и думал: «Анечка, Анечка, вот ты и перевернула последнюю страницу моей первой любви».

Ну да ладно, не будем отвлекаться.

Лет до пятнадцати я влюблялся несметное количество раз, но отношения с еще неоперившимися школьницами носили чисто платонический характер. Я ни с кем не целовался, в то время как мои школьные товарищи уже занимались этим вовсю.

Однажды, валяясь на диване и томясь от безделья, я увидел в окне странную процессию. Широко шагающую впереди девушку Тому из соседнего переулка и семеня-

щих за ней семерых моих соучеников. Отсутствие ума Тома компенсировала потрясающей грудью и длинными, как уши у спаниеля, ногами. К этому надо добавить, что она была не по годам эротична и давала кому ни попадя. Смутные неприятные подозрения проникли в мою душу, и я, выскочив на улицу в одних тапочках, завистливо спросил у замыкающего колонну Додика Альтмана:

— Вы куда?

— Томку идем на речку трахать,— по-военному жестко отозвался Додик.

— Всемером? — ахнул я.

— Всемером,— все так же, не моргнув глазом, ответил тот.

— А восьмой вам не пригодится? — жалостливо попросился я.

— Нет,— отрезал Додик,— перебор будет.

Компания удалялась. Я стоял потрясенный и одинокий.

«Ну вот,— думал я,— сейчас они станут мужчинами, а я когда? Да и стану ли им вообще...»

И вдруг, к моему изумлению, я увидел, как вся эта сексуальная процессия молча возвращается обратно. Причем в той же последовательности! Томка впереди, мачо — сзади. Я посмотрел на часы. Прошло пятнадцать минут. Я лихорадочно начал считать. До речки идти минуты три, не меньше. Туда-обратно — получается шесть. Итого, на любовные утехи остается кругом-бегом девять минут. Я быстренько разделил девять на семь, и получилось, что на собственно соитие у каждого ушло минуты по полторы. Мысленно я попытался представить себе, как это могло у них получиться. Но в голове почему-то трещала одна выхваченная из закоулков памяти фраза: «Быстрые шахматы — удивительный и замечательный вид спорта».

Все это не укладывалось в моем сознании.

— Додик,— спросил я поравнявшегося со мной замыкающего колонну Альтмана,— скажи честно, Томка не дала?

— Дала,— ответил Додик.

— Тогда как же вы все успели?

— Хорошего понемножку,— с достоинством ответил Альтман.

Вскоре мой теоретический запас в этой области стал весьма обширен. Хотелось применить полученные знания на практике. Так сказать, опробовать эту тонкую технологию на живом материале. Но случая не представлялось.

Конечно, провожая очередную влюбленность домой, я предпринимал попытки припасть к ее живительным устам. Но мои пассии были целомудренны как ангелы или делали вид, что целомудренны. Все до единой. В лучшем случае все заканчивалось держанием ее ладони в моей, пока наконец от долгого держания девичья ладошка не покрывалась испариной, и это служило мне сигналом, что девушку пора отпускать.

— Так чего? — спрашивал я развязно после мучительной паузы.— Я пошел?

— Иди-иди! — облегченно вздыхала милостиво отпущенная мною школьница.

Первый поцелуй случился внезапно и едва не превратил меня в импотента. Произошло это на вечеринке. Вечеринка до поры до времени носила постный и стерильный характер, пока какой-то прыщавый юноша не прокаптал:

— А не пога ли нам в бутылочку поиграть?

Предложение было принято с интересом. Когда очередь дошла до меня, бутылочный перст указал на скромно сидящую в углу хозяйку дома, весящую сто двадцать килограммов, а то и сто тридцать. Но к тому времени меня не

волновало, с кем состоится мой премьерный поцелуй. Мне было важно только одно — чтобы он состоялся.

Когда закрученная мной бутылка показала на хозяйку, та стала подавать признаки беспокойства. Она начала покачиваться, нервно выламывать пальцы, поправлять волосы, пока не сказала:

— Я здесь целоваться не буду. При всех. Пошли в спальню, — и, схватив за руку, стала увлакивать меня в другую комнату.

Она делала это столь решительно, что мне стало не по себе. Я даже впал в короткий шок, а выпав из него, подумал, что, пожалуй, дело может закончиться не только поцелуем. Терять же мою так долго и тщательно оберегаемую невинность с этим самодвижущимся комодом не входило в мои планы. Я сделал попытку сопротивляться. Бесполезно. Какое уж там сопротивление с моими жалкими шестьюдесятью килограммами против ее весомых ста двадцати. Софочка (а все ее называли уменьшительно-ласково — Софочка), ворвавшись в спальню, ловким бойцовским приемом швырнула меня на кровать. Рук ее не было видно — они работали в режиме вентилятора. Вентиляторные руки одновременно растилали постель, сбрасывали с себя платье, пытались раздеть меня и еще совершали множество других движений.

Все мои теоретические выкладки, все те знания, которые вбивали в меня участливые соученики, пошли прахом. Я был лишен Софочкой всякой инициативы. Единственное, что я успел, так это укубить ее за ухо. Но совершил я этот экстремальный поступок отнюдь не из амурных побуждений, а исключительно в целях самообороны. Нечеловеческим усилием я извлек из-под Софиных окороков свое обмякшее, расплющенное тело и, застегиваясь на ходу, выскочил из спальни мимо обалдев-

ших гостей на улицу. Ноги подкашивались, руки дрожали, к горлу подкатывала тошнота. Слишком неравной была схватка.

Через некоторое время, оправившись от Софочки, я познакомился с Вале́й Гусер. Фамилия полностью соответствовала ее внешности. После Софочки Валя казалась мне совершенно незащищенной. Она была романтически настроенной девушкой и обожала туристские походы и все, что с ними связано: костры, песни под гитару, немытые котелки и прочую походную фигню.

Усевшись на небольшой пригорок, впоследствии оказавшийся муравьиным гнездом, я с некоторой осторожностью взял Валину руку и стал перебирать ее хрупкие пальчики. Валя свою длань не оторвала, только кивнула томно: мол, продолжай. Я продолжил и так увлекся, что не заметил, как первый передовой отряд муравьиных гурманов аппетитно вгрызся в мою задницу. Пытаясь сбросить с себя поедающих меня тварей, я начал этой самой задницей активно елозить по гнезду. Валя приняла эти телодвижения за робкие проявления страсти.

— Потерпи, — нежно прошептала она. — Еще чуть-чуть.

Я бы, конечно, потерпел, но к этому моменту на моем заднем форпосте пиновала уже целая муравьиная дивизия, а то и две. От окончательного поедания мое многострадальное мягкое место спасло только то, что стало холодать. И гражданка Гусер царским голосом предложила перенести ласки с лона природы непосредственно в спальный мешок.

В ту же ночь под шум дождя и завистливое уханье сов я, путаясь в лямках Валькиного нижнего белья, лишил себя девственности.

Ранним утром, выцарапавшись из мешка и сладко потягиваясь, Валя сказала:

— Я так счастлива. Я себя чувствую как сказочная птица Пенис, восставшая из пепла.

Пришлось констатировать, что Валя была хоть и романтической, но малообразованной девушкой.

Должен признаться, что на моем пути часто встречались необразованные девушки. Одна, пригласив меня на белый танец, прижалась щекой к щеке и спросила блудливо:

— Броетесь?

— А как же, — в тон ответил я. — Какой же молодой человек не броеется? Как утром проснусь — бритву в руки и броюсь, броюсь, броюсь... Пока все не сброю!

Но попадались и эрудитки. После того как я продемонстрировал одной из них свои выдающиеся, как мне казалось, мужские способности, она раскинулась в неге на постели и спросила:

— Милый, а кто твой любимый литературный герой?

Мне показалось, что вопрос прозвучал несколько несвоевременно.

— А твой? — спросил я, находясь в состоянии морального нокаута.

— Павка Корчагин, — ответила она, и в глазах ее засветился задорный комсомольский огонек. — Особенно когда он узкоколейку строил.

Мне стало мучительно больно... Я поднялся и молча оделся. Светлый образ Корчагина стоял перед глазами и как бы говорил мне: «Как же вам не стыдно, товарищ?! Мы там, в двадцатых, себя не щадя, вымащивали дорогу в светлое будущее, а вы в этом светлом будущем вот чем занимаетесь. Эх, товарищ, товарищ...»

ГЛАВА 4,



**в которой я начинаю
приобщаться к искусству,
а искусство сильно
сопротивляется**

В семнадцать лет я, по велению своего раздираемого противоречиями сердца, поступил в Кишиневский народный театр. Условия приема в сей храм художественной самодеятельности были просты. Хочешь поступать — будешь принят. Не хочешь поступать — не будешь принят.

Создателем этого уникального театрального организма был Александр Авдеич Мутафов. Лет ему было около семидесяти, но он об этом не знал, поскольку давно находился в маразме. Правда, с элементами просветления. Лицо Мутафова смахивало на сильно высохший помидор, из центра которого неизменно вытарчивала выкуренная до последнего миллиметра сигарета «Ляна». В народе эти сигареты называли «атомными», и действительно, когда Мутафов закуривал, невольно хотелось дать команду: «Газы!»

Еще Авдеич любил дешевый портвейн. Он называл его уважительно — «портвэйн». С таким вот почтительным употреблением буквы «э» я столкнулся еще раз. Встречался я с одной. Однажды она мне говорит:

— Кофэ хочу! — решительно так говорит.

«Ну, кофе так кофе», — подумал я и повел девушку в близлежащий общепит. Выпила она чашку, прокрутила во рту последнюю каплю, и после небольшой паузы я слышу:

— Еще хочу.

Взял вторую. Выпила.

— Еще, — говорит, — хочу.

Взял третью. Третью она пила долго и сосредоточенно, причмокивая и облизываясь. Потом вздохнула про-

тяжно, протерла пропотевшее от дегустации лицо платком и произнесла загадочную фразу:

– Все мне говорили – «кофэ, кофэ»... Ни-че-го особенного.

Итак, Мутафов. Обычно, напившись «портвэйну», он закуривал традиционную «атомную», собирал нас в круг и начинал свою маразматическую речь.

«Значит, дело было в тридцать седьмом году. Или в двадцать седьмом? Нет, в тридцать пятом! Время непростое. Сложное, я бы сказал, время. Искусство в застое. Слышу звонок.

– Кто говорит? – спрашиваю.

– Станиславский с Немировичем! – отвечают.

– Слушаю вас обеих, – говорю.

А они мне говорят:

– Не хотите ли МХАТом поруководить?.. А то без вас беда нам».

В зависимости от количества выпитого рассказ варьировался. Например:

«Когда мы встречались с Пашей Пикассо, он мне прямо заявил:

– Да ты, Саня, с твоей внешностью да с твоими манерами на Западе стал бы звездой номер раз!».

А однажды допился до того, что увертюра звучала так:

«Дело было до войны. Только-только заключили с Германией пакт о ненападении. Звонят. Голос с немецким акцентом:

– Господин Мутафогф?

– Да, – отвечаю.

– Это из Рейхстага беспокоят. С вами хочет фюрер поговорить.

– Кто хочет? – изумились мы.

– Ну Гитлер, кто! Военный парад приглашал поставить на стадионе. Да не получилось – война помешала. А жаль... Я бы им там наворотил!

Потом закурил свою «Ляну», затянулся глубоко и, задумчиво глядя на свои пожелтевшие от никотина ногти, сказал:

— А ведь обещал войну первым не начинать... Вот и верь после этого людям!

За десять лет диктаторства в народном театре Мутафов поставил два спектакля. Первая пьеса была написана грузинским драматургом, или, как теперь говорят, лицом кавказской национальности, Амираном Шеваршидзе. Называлась пьеса «Девушка из Сантьяго», и в ней в легкой увлекательной форме рассказывалось о боевых буднях простой кубинской девушки, которая в течение нескольких часов нанесла американцам такой материальный ущерб, что, вздумай сегодня Фидель Кастро этот ущерб возместить, Куба осталась бы без штанов. К счастью для американцев, отважную девушку в конце спектакля зверски замучила батистовская охранка. Не сделай они этого — и Америка наверняка осталась бы без штанов. Пьеса безусловно удалась автору, так как была одобрена спецкомиссией ЦК КПСС и рекомендована к исполнению.

Насколько хороша вторая пьеса, сказать не могу. Это была «Бесприданница» Островского, относительно нее комиссия из ЦК никаких положительных рекомендаций не давала.

Несмотря на то что два эти опуса шли не менее десяти лет, Авдеич ежедневно репетировал отдельные сцены, пытаюсь довести их до совершенства.

— Так! — победоносно орал он хриплым пропитым голосом.— Хор-рошо!.. Но уже лучше!

В такие минуты он напоминал героя Гражданской войны Григория Котовского, с ходу берущего какой-нибудь белогвардейский оплот.

Полгода я сидел в зале, наблюдая эти незабываемые уроки мастера и ожидая, когда же наконец мастер обратит на ме-

ня свой пылающий режиссерский взор. И вот — свершилось. В кубинской эпопее был выписан персонаж — священник Веласкес. Роль в реестре действующих лиц была обозначена автором так: «Священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо», — и единственное, что успевал сказать по ходу пьесы этот злополучный священник, и было это самое: «Я — священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо», — после чего его вешали. Происходило это следующим образом. Революционно настроенная девушка из Сантьяго приказывает:

— Привести сюда этого подонка, священника Веласкеса из Сьюдад-Трухильо!

С голодухи готовые на все кубинские партизаны молдавского разлива выволакивают на сцену избитое существо, облаченное в рваную черную мантию.

— Кто этот человек? — грозно вопрошает кубинская Жанна д'Арк.

— Я — священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо! — вопит избитое существо.

— Кончить негодяя! — решительно говорит сантьяженка, и партизаны охотно идут навстречу ее просьбе. Проклиная американских империалистов, они уводят священника за кулисы, и доносящийся оттуда через секунду протяжный животный крик дает понять зрителю, что и на этот раз добро победило зло.

Роль не задалась. То ли партизаны волокли меня вяло, то ли я не настроился, но, когда девушка спросила: «Кто этот человек?» — я проямлил что-то непотребное.

— Что?! — бесновался Мутафов. — Почему?! Человека ведут на виселицу, а ты бубнишь под нос, как старый ксендз на молитве.

— А при чем здесь старый ксендз? — обиделся я.

— Не надо мне шить атеизм! — продолжал бушевать Мутафов. — У меня бабушка батюшка! То есть у бабушки муж — батюшка. Правда, умер уже, вместе с бабушкой.

— При чем здесь бабушка? — огрызнулся я. — К вашей бабушке у меня претензий нет. У меня претензии к партизанам. Они же без всякого огонька меня волокут! Формально.

— Это мы-то волокем без огонька? — обиделись в свою очередь партизаны. — Ну, пойдем! Щас с огоньком поволокем. Неформально. Тебе понравится.

Их тон не сулил мне ничего хорошего. Обидевшиеся партизаны потащили меня так, что стало ясно — будет больно. Даже очень больно. И когда мадам в очередной раз кокетливо спросила: «Кто этот человек?» — я заверещал что было мочи:

— Я — священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо! Только не бейте меня больше — я все скажу!

— Хор-рошо! — успокоился Мугафов. — Хор-рошо! Но уже лучше! Только без отсебятины.

Он ничего не понял. Это была не отсебятина. Это был крик души. Я подумал, что если партизаны позволяют себе такое на репетиции, то на спектакле они могут так разойтись, что я буду просто размазан по стенке. Во избежание избиений прямо на сцене я покинул подмостки народного театра.

Через несколько дней я прочел в вечерней газете объявление о наборе в кукольный театр учеников кукловодов с зарплатой в сорок рублей. Больше рубля в моем кармане не водилось. Сумма показалась мне значительной. Я явился на показ. Выбирать было не из кого, поскольку только я один и явился. Главреж окинул меня взглядом с головы до пят, словно отсматривал не кандидата в кукловоды, а проститутку в бордель. Впечатления на него я явно не произвел. Он вяло спросил:

— Рост у тебя какой?

— Сто девяносто сантиметров, — отрапортовал я.

— Высоковат. А ширма — метр семьдесят.

— Ничего! — рапортовал я. — Пригнусь.

— Ну-ну, — протянул главреж, — посмотрим. На-ка, роль почитай.

— Сразу роль? — не поверил я.

— А что делать? Людей-то нету. — Он сокрушенно развел руками, как бы давая мне возможность самому убедиться, что людей и вправду нет.

И я понял, что берут меня не из-за искрометности моего таланта, а ввиду полной безысходности.

Роль, порученная мне в кукольной труппе, мало чем отличалась от Веласкеса как по количеству текста, так и по его качеству. Это была роль барсучка. Разница заключалась лишь в том, что Веласкес был религиозен от головы до пят, а Барсучок, воспитанный в духе соцреализма, в лучшем случае был агностиком. Оптимистично настроенный барсучок с рюкзачком за плечами выныривал на лесную опушку, распевая песенку сомнительного, прямо скажу, содержания:

Эй, с дороги, звери-птицы,
Волки, совы и лисицы!
Барсук в школу идет,
Барсук в школу идет.

— Ты куда, барсучок? — весело спрашивает белочка, настроенная не менее оптимистично.

— В школу иду! — еще веселее отвечает барсучок.

— А там интересно? — спрашивает белочка, на всякий случай добавив еще несколько градусов веселья.

— Оч-чень! — уже на пределе оптимизма визжит барсучок и уходит в прекрасное далёко.

Надо отдать должное моей сметливости — роль я выучил быстро. Возникло препятствие другого рода — я решительно не вписывался в ширму. Я выгибался до максимума, и от этого рука, держащая барсучка, выписывала такие

кренделя, что у детей возникало убеждение: барсук идет в школу не просто выпимши, а нажравшись до самого скотского состояния. Если же я выпрямлялся, то над ширмой величаво возникал черный айсберг. А, как известно, айсберги, да еще черные, в европейских лесах нечасто появляются. Даже в сказках. Загадка разрешалась просто — это была макушка моей аккуратно подстриженной головы.

Главреж стонал, но уволить меня не мог. Артистов катастрофически не хватало. И тогда он нашел поистине соломоново решение. Он заказал у декораторов шапочку в виде пенька. Я надевал пенек на голову, и, как только барсук появлялся над ширмой, вместе с ним появлялся и пенек-голова. Барсучок вальяжно на нем (или на ней) разваливался, отбарабанивал свой текст, а уходя, как бы невзначай прихватывал с собой и пенек. Смелое решение режиссера доводило дошкольников до безумия.

Все шло хорошо, но однажды случилось непредвиденное — с белочки свалилась юбка. Белочка, все это знают, — особь женского пола и посему была одета именно в юбку. Когда вышеуказанная юбка стремительно слетела с беличьего тела, перед перепуганными детьми во всей красе предстали беличьи меховые вторичные половые признаки. Я (как барсучок) был настолько уязвлен этим бесстыдным стриптизом, что меня аж за кулисы отбросило. Белочке даже показалось, что барсук перед своим позорным бегством прошептал возмущенно:

— Что ж ты, курва, делаешь?

Но это ей, конечно, только показалось. Ничего подобного я не говорил. Я только подумал: «А на кой ляд мне сдался этот кукольный?» Тем более что меня уже все больше привлекала эстрада. Ее мишурный блеск меня слепил.

«Вот это — мое! — думал я. — Вот это — мое!»

И, в одночасье собравшись, уехал в Москву. В эстрадно-цирковое училище.

ГЛАВА 5,



о Москве, которая за нами

Москва убила меня своими размерами, метрополитеном и многочисленными зданиями университетов им. М. Ломоносова, поскольку каждую многоэтажку со шпилем я воспринимал как МГУ, так как до этого Москву видел только на открытках, и, что бы на этих открытках ни было изображено, обязательно, в качестве основного декора, присутствовал корпус Московского университета.

«Этот город так просто не взять!» — подумалось мне, как когда-то подумалось Наполеону в далеком 1812 году.

Училище находилось на небольшой улочке 5-го Ямского поля, и его прохлада успокаивающе действовала на мое воспаленное воображение. Сдав документы в учебную часть, я уселся в уголке манежа, с интересом наблюдая, как репетируют старшекурсники.

— Поступаешь? — послышалось сзади.

Я обернулся. Передо мной стоял невысокий чернявенький московский парниша с явно не московским шнобелем.

— Ну поступаю, — ответил я. — А что?

— На эстрадное?

— Ну на эстрадное.

— Не поступишь! — убежденно сказал носатый парниша, и по тому, как он это сказал, я понял, что уж в своем зачислении он точно не сомневается.

— А в связи с чем это я должен провалиться? — насто-рожился я.

— В связи с тем, что конкурс около ста человек на место.

— Угу!

Меня стало подташнивать от такого зазнайства.

— А ты, значит, не провалишься?

— А я не провалюсь.

— Почему это?

— А потому это,— ответил парниша.— Ну ладно, чао! Встретимся на экзамене.

— Звать-то тебя как? — крикнул я вдогонку.

— Хазанов,— донеслось из вестибюля,— Гена.

Я позавидовал Гене, потому что во всем его облике была какая-то непонятная для меня уверенность в себе. Именно эта уверенность и подвела его на первом туре. Он настолько безукоризненно (правда, на мой взгляд) прочитал басню, что принимающие экзамен, покачав головой, в один голос произнесли:

— Вы, молодой человек, настолько профессиональны, что путь вам отсюда один — в Ханты-Мансийскую филармонию. Там вы будете в самый раз.

И кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не Юрий Павлович Белов — худрук училища. Он поправил очки и, посмотрев на абитуриента томным взглядом, не менее томно произнес:

— Э-э-э... что же это мы, уважаемые, так набросились на юношу? Не будем так безапелляционны в своих суждениях. На мой неискушенный взгляд, в нем, безусловно, что-то есть. Правда, пока не знаю, что именно, но что-то, безусловно, имеется.

После первого тура я познакомился с еще одним потенциальным поступлянтом. Фамилия его была Нелипович. Он достаточно хорошо показался на экзамене, и я, почувствовав в нем конкурента, пришел к выводу, что эту преграду надо убирать. Как я уже сказал, фамилия его была Нелипович, и в самом ее звучании мне почувствовалось что-то смутно предвещающее мне победу.

Пробиться к нему было непросто. Он жрал. Он всегда жрал. Крошки из его рта сыпались, как снег в ноябре, а самого Нелиповича окружали толпы жаждущих подачки, а посему бесцеремонно лебезящих перед ним жирных голубей и таких же жирных воробьев. Я еще подумал, чего они такие жирные, с собой он их, что ли, возит в качестве эскорта? Но время не терпело. Наступая на лапки пернатым друзьям Нелиповича, я все-таки прорвался к нему. Он как раз дожевывал очередную бесконечную ватрушку.

— Как твоя фамилия? — гаркнул я на него.

— Нелипович, — с трудом ответил он, так как пасть его была до краев забита творогом и ватрушечным тестом.

— Не Липович, говоришь, — задумчиво протянул я. — Ну а тогда какая же, если не Липович?

— Что значит «какая»? — прошамкал Нелипович. — Я же сказал: Нелипович. Непонятно, что ли?

— Ну почему же? То, что ты не Липович, — это-то мне как раз понятно. А непонятно мне другое: кто же ты есть, Нелипович, если ты не Липович?

— Фамилия моя Нелипович, — возбуж он так, что даже шамкать перестал. — Не-ли-по-вич!

— Слушай, — разозлился я якобы не на шутку, — ты как с представителем деканата разговариваешь? Последний раз спрашиваю: если ты не Липович, то кто ты?

— В смысле?

— Чё ты такой тупой? Вот я, например, не Достоевский. Хазанов — не Гоголь. А кто ты, если ты говоришь, что ты не Липович? Может, ты Кацман, может, Иванов — мне не важно кто, мне важно, кто ты!

Довел я его таки до ручки.

На втором туре он появился бледно-серого цвета и на просьбы комиссии представиться испуганно прошептал: «Нелипович, а кто конкретно, не могу сказать». А потом

глазами, полными печали, обвел присутствующих и молвил: «Можно, я выйду?»

И ушел навсегда.

И ведь что характерно, никаких угрызений совести я не почувствовал. Бездарен он был, этот Нелипович, надолго бы не задержался — все равно бы отчислили.

Началась учеба. Гена был единственным москвичом на курсе. Мама его умела готовить только сосиски, но и сосиски казались мне тогда непозволительной роскошью. По этой причине я, пораскинув мозгами, решил с Хазановым подружиться. Он относился ко мне, как к реликтовому растению, и водил по своим именитым друзьям, с радостью наблюдая, как я приятно шокирую их неповоротливостью, неумением вести себя за столом, а главное — манерой разговаривать. Выражения типа «терпеть ненавижу такую погоду», «у вас в метре такие страшные толкучки», «чем так жить, лучше, не дай бог, умереть» сыпались из меня как из рога изобилия и вызывали у них невыразимый восторг. А сам Гена, стоя в сторонке, потирал от удовольствия руки и поглядывал на меня, как Миклухо-Маклай на дикого аборигена, привезенного из Новой Гвинеи в Европу специально для ознакомления с ним научной общественности.

Тем не менее Москва делала свое дело — постоянные походы в театры и на концерты, огромное количество информации и, конечно, среда обитания потихонечку отшлифовывали меня.

Я смелел, опижонивался и даже позволял себе посылать нескромные взгляды в сторону высокоэрудированных девочек из крутых компаний, но, увы, — стоило только положить на кого-то глаз, как я тотчас же узнавал, что избранная мною красавица уже охвачена Хазановым, и при этом не далее как позавчера. Я терпел. Терпел, вопервых, потому что он был старше меня на год, во-вто-

рых, умнее, и, в-третьих, значительно! Но вот почему терпели педагоги, до сих пор остается для меня загадкой. Причем некоторые не просто терпели, а еще и трепетали при этом. Однажды Михаил Иосифович Зильберштейн, доктор искусствоведения, импозантный седовласый мужчина, преподававший нам сатирическую литературу, пытаясь уличить его в незнании предмета, коварно спросил:

— Геночка, милый, вы, случайно, не помните, когда в России организовался первый сатирический журнал и как он назывался?

«Милый Геночка» строго глянул на пожилого доктора и отчеканил:

— Фрондерствуете, Михаил Иосифович? И не стыдно вам в ваши-то годы?

Михаил Иосифович побелел и осекся.

В перерыве я завел Гену в туалет и осторожно спросил:

— Хазан, что означает «фрондерствуете»?

— Фрондерствуете,— важно ответил он,— производное от слова «фронда». Сиречь французская оппозиция времен революции.

— Нашей?

— Ихней.

Так и не поняв, какое отношение имеет фронда к Михаилу Иосифовичу, а Михаил Иосифович к ихней революции, я, тем не менее, был настолько очарован дивным звучанием глагола «фрондерствовать», а также эффективностью его воздействия, что дал себе слово при случае обязательно им воспользоваться. Срабатывало всегда. Стоило только молвить какому-нибудь надоевшему собеседнику: «Фрондерствуете, бога душу мать?» — как он мгновенно затихал и исчезал в неизвестном направлении.

Видя некое раболепие по отношению к себе со стороны преподавательского состава, Геннадий Викторович этим раболепием широко пользовался, наглед и практически никогда ничего не учил. Готовясь к экзамену по истории театра, мы сутками просиживали в библиотеках, перечитывая горы пьес и получая при этом в лучшем случае троечку. Он же, не прочитав ни одной, врвался в экзаменационную аудиторию с огромной кипой книг и, упираясь в верхнюю подбородком, перелистывал языком последнюю страничку, бормоча озабоченно себе под нос: «...Лопе де Вега. Том третий. Корректор Фильчиков, редактор Пальчиков, тираж десять тысяч, цена рубль двадцать», — после чего захлопывал ее тем же языком и, выдохнув умиротворенно: «Успел все-таки!» — вываливал всю эту грудку бесполезной макулатуры перед изумленным экзаменатором. Понятно, что тот, потрясенный усидчивостью студента, не спрашивал у него ровным счетом ничего и безропотно ставил пятерик. А по окончании собирал в аудитории весь курс и, поглаживая руками так и не убранный со стола хазановскую кучу книг, с умилением говорил нам:

— Вот как надо готовиться!

...И вот я стою один на один с приемной комиссией. Со стороны это выглядело так. На подиум, подхалимски сутулясь, вышел журавлеобразный юноша с большой задницей, узкими плечами и маленькой змеиной головкой. Ноги заканчивались лакированными стоптанными шкарами и коричневыми штанами, сильно стремящимися к штиблетам, но так и не сумевшими до них дотянуться. Все оставшееся между коричневыми штанами и черными башмаками пространство было заполнено отвратительно желтыми носками. А заканчивался этот со вкусом подобранный ансамбль красной бабочкой на длинной шее.

Она развевалась, как флаг над фашистским Рейхстагом, предрекая комиссии скорую капитуляцию.

— Как вас зовут? — спросили меня.

— Илюфа.

В комиссии недоуменно переглянулись.

— Как-как?

— Илюфа,— скромно ответил я, про себя поражаясь их тупости.

Следует пояснить, что поскольку первые восемнадцать лет я провел в Кишиневе, то разговаривал я на какой-то адской смеси молдавского, русского и одесского. К этому «эсперанто» прибавлялось полное неумение произносить шипящие и свистящие. Вместо «С», «З», «Ч», «Ш», «Щ», «Ц» я разработал индивидуальную согласную, которая по своим звуковым данным напоминала нечто среднее между писком чайного свистка и шипением гадюки. Что-то вроде «кхчш». Все это фонетическое изобилие подкреплялось скороговоркой, что делало мою речь совершенно невразумительной. Меня понимали только близкие друзья. По каким-то интонационным оттенкам, мимике и телодвижениям они улавливали генеральное направление того, что я хотел сказать, а уж дальше полагались на свою интуицию. Очевидно, увидев, а тем более услышав меня, экзаменаторы предположили, что я являюсь посланцем неведомой им доселе страны. Однако, посоветовавшись, пришли к единому мнению, что я таким странным образом заигрываю с ними.

— Значит, Илюфа? — приняли они мою игру.

— Илюфа! — подтвердил я, ничего не подозревая.

— И откуда фе вы приефафи, Илюфа? — раззадоривали они меня.

— Иф Кифинефа,— отвечал я.

— Ну, фто фе, Илюфа иф Кифинефа, пофитайте нам фто-нибудь.

Они явно входили во вкус. «Ну, засранцы, держитесь!» — подумал я, а вслух сказал:

— Фергей Мифалков. Бафня «Жаяч во фмелю».

В переводе на русский это означало: «Сергей Михалков. Басня „Заяц во хмелю“».

Ф жен именин,
 А можеч быч, рокжчения,
 Был жаяч приглакхчфен
 К ехчу на угохчфеня.
 И жаяч наф как сел,
 Так, ш мешта не кхчщкодя,
 Наштолько окошел,
 Фто, отваливхкчишкхч от фтола,
 Ш трудом шкажал...

Что именно сказал заяц, с трудом отвалившись от стола, комиссия так и не узнала. Я внезапно начал изображать пьяного зайца, бессвязно бормоча, заикаясь и усиленно подчеркивая опьянение несчастного животного всеми доступными мне средствами. И когда к скороговорке, шипению, посвистыванию и хрюканью прибавилось еще и заячье заикание, комиссия не выдержала и дружно ушла под стол. Так сказать, всем составом.

Я ничего этого не замечал, я упивался собой.

— Хватит! — донеслось до меня откуда-то снизу.— Прекратите! Прекратите немедленно!

Это кричал из-под стола серый от конвульсий все тот же Юрий Павлович Белов.

— Прекратите это истязание! Мы принимаем вас! Только замолчите!

Я был счастлив, но счастье мое длилось недолго. Нина Николаевна, педагог по сценречи, окунула меня в ушат с холодной водой.

— Дитя винограда! — сказала она.— Если ты не займешься своей дикцией, через полгода вернешься домой. Каждый день с утра до вечера я как проклятый выворачивал наизнанку язык, наговаривая невероятные буквосочетания. И наконец на одном из занятий отчеканил:

Шты, штэ, шта, што.
Жды, ждэ, жда, ждо.
Сты, стэ, ста, сто.
Зды, здэ, зда, здо.

Шипящие и свистящие звенели, как туго натянутая струна.

— Молодчина! — похвалила меня Н. Н.
— Хфто, правда хорофо? — по привычке спросил я.
Курс заржал.

Мне повезло с учителями. Ольга Аросева, Евгений Весник, Александр Ширвиндт, Надежда Слонова... Но не будем о тонкостях преподавания актерского мастерства. Я хочу рассказать вам другую историю. Историю о том, как Ольга Аросева приобрела шубу.

ГЛАВА 6,



**В которой я рассказываю
о чудесной прогулке
своего отца,
а также раскаиваюсь
в некоторых злодеяниях**

Неоднократно приезжая в Москву, мой отец в частных беседах убеждал Ольгу Александровну Аросеву, что шубу надо покупать в Кишиневе, потому что только в этом городе можно купить шубу чуть ли не задаром. А учитывая отцовские связи — просто за копейки. Ольга Александровна ничтоже сумняшеся согласилась. А так как Кишинев — город южный, то и оделась она соответственно — туфельки, капроновые чулки, легкий плащ. Дело было зимой. Сходит она с трапа. Мороз — двадцать градусов. Ветер. Народ в воротники прячется. Неуютная какая-то погода. На следующий день, позавтракав, собрались за шубой.

— Может, прогуляемся? — невинно предложил отец.

— Холодно, — неуверенно сказала Аросева. — Да и в капроне я.

— Да мы буквально пять минут, — не унимался папа. — Подышим — и в такси.

И вот тут Ольга Александровна дала маху. Она взяла отца под руку.

В те годы пани Моника из «Тринадцати стульев» находилась в зените славы. Ее любили, ее обожали, ее боготворили. Шарон Стоун сгрызла бы ногти Дженифер Лопес от зависти, увидев хоть краешком глаза, каким бешеным успехом пользовалась эта женщина. И естественно, что папино появление в центре Кишинева с пани Моникой — Аросевой под ручку вызывало у прохожих оцепенение. Знакомых у отца было много. Даже очень много. Через каждые тридцать секунд очередной остолбеневший папин приятель отводил его в сторону и, затаив дыхание, спрашивал:

— Лева, это она или это мираж?

— Это не мираж,— по-хозяйски отвечал папа.— Это она.

Через полчаса застывшие ноги Ольги Александровны решительно отказались ходить.

— Лев Анатольевич,— жалобно спросила она,— может, в такси?

— Какое такси, Олечка, когда мы уже не то что тут, а уже почти здесь,— сказал папа, наслаждаясь эффектом совместной прогулки.

Это «почти здесь» продолжалось еще минут сорок. Когда они наконец дошли до места, пани Моника не сумела войти в дверь. Она в нее впала.

— Хотите посмотреть, мадам, на товар, которого я для вас приготовил? — ворковал хозяин.— Это не шуба, я вам скажу. Это что-то особенного!

— Какая еще шуба?! — прогремела Ольга Александровна.— Водки! И как можно больше.

Очень долго не могла забыть она свой шубный вояж и невольно вздрагивала при этом страшном воспоминании. Но тем не менее шуба была при ней.

По-моему, невозможно встретить женщину, которая осталась бы равнодушной, услышав заветное «шуба». Уж на что моя жена была выдержанным человеком, и та, завидев этот предмет в витрине магазина, начинала волноваться, томно шуриться, вероятно представляя себя в этом роскошном одеянии небрежно прогуливающейся где-нибудь в Швейцарских Альпах. Увы, ни то ни другое ей не светило. Денег в нашей семье хронически не хватало. Деньги — странная штука. То их нет, то их совсем нет.

Итак, шубка долгие годы оставалась недостижимой мечтой. Пока в один холодный январский вечер меня не вызвал начальник отдела кадров Ленконцерта (где я тогда

работал) Горюнчик, которого мы любовно называли «Гальюнчик», или попросту «Сортирный человек».

— А не хотите ли вы поехать на гастроли за рубеж? — спрашивает.

— Кто ж туда не хочет? Хочу, — говорю.

— В Афганистан.

— Кто ж туда захочет? Не хочу, — говорю.

— Но если вы съездите в Афганистан, мы потом отправим вас с шефскими концертами для наших воинов в Венгрию. Мы вас не торопим. Подумайте.

— А чего тут думать? Хочу в Афганистан, — сказал я, мгновенно проанализировав ситуацию.

Водки в Афганистане в 1983 году хронически не хватало. Не афганцам, нет. Нашим. Весь местный запас алкоголя был уничтожен ограниченным контингентом советских войск в самые короткие сроки. Ограниченный контингент мучился и, буквально давясь, вынужден был пить всякую гадость. Я из чисто гуманитарных соображений решил помочь интендантской службе в решении этой сложной, но не невыполнимой задачи. Горючего я купил много. Ушло оно в первые же минуты моего пребывания на дружественной нам тогда афганской земле. У меня наконец появились деньги. Афганские.

— Сколько стоит лисья шубка? — небрежно спросил я у сопровождающего нас майора.

— Да черт его знает! Тысяч десять, наверное, — ответил майор.

Всю ночь, положив чемодан на тумбочку бдительно спящего дневального, я пересчитывал честно наспекулированную мною валюту. Сколько бы я ни мусолил купюры, получалось, что на покупку шубки недоставало нескольких тысяч. И тут мой взгляд упал на висящее в углу кожаное пальто. Когда-то его носил отец, чуть раньше — его

отец. Еще раньше — отец отца моего отца, etc., etc., etc. Это была семейная реликвия, которая сохранилась только потому, что тяжело было ее (реликвию) выбросить. Я оглядел пальто скептическим взором. Вид у него был неважный. О том, что это пальто, а не, скажем, полая тряпка, можно было догадаться исключительно по пуговицам. Пуговицы были австрийские. С Первой мировой войны.

«Ничего-ничего,— сказал я сам себе,— все путем... Разбужу дневального, возьму у него гуталина, начищу пальтишко, срежу с рубашки итальянскую бирку, пришью чуть ниже воротничка — ни одна падла не догадается. Будет как новенькое».

На следующий день я, крепко зажав под мышкой надраенное до блеска кожаное фуфло, ринулся на базар. Кругом сновали бойкие афганские пацаны, неся на головах лоточки, на которых валялась всякая мелочь — зажигалки, дешевые часы, жевательная резинка.

— Советки! — кричали они наперебой.— Купи херня! Купи херня!

Дело в том, что наши офицеры, завидев товар, который продавали мальчуганы, и тщательно его осмотрев, подытоживали увиденное по-военному четко:

— Херня!

А пацаны, решив, что «херня» есть исконно русское слово, обозначающее мелкую торговлю, застолбили его за собой. От раздающегося со всех сторон «купи херня» у меня разболелась голова.

«Действительно, херня!» — подумал я и решительным шагом направился в сторону лавочек, где ассортимент был посерьезнее. Мне повезло. В первой же лавчонке висела ослепительно рыжая шубка. За прилавком стоял старик, ничем не отличающийся от среднеазиатского аксакала. На голове его красовался малахай, а из-под рта его просачивалась редкая седая бородка.

— Заходы, рафик, заходы, друк,— залопотал аксакал.

— Хау мач шубка? — спросил я, продемонстрировав изумительное знание английского.

— Друк рафик,— продолжал лопотать аксакал, абсолютно положив на мой английский.— Списиално для тебе — десат сисач.— И добавил: — Максимально!

— По-го-ди! — решительно покончив с английским и перейдя на свойственный мне русский, сказал я.— Вот у меня паль-то. Почти но-вое. Ита-ли-я! — И показал на бирку, чтобы аксакал не сомневался в иностранном происхождении моей тряпки.— Я да-ю те-бе паль-то и пять ты-сяч. Пять!!!

— Нэт Италия, нэт палто. Десат сисач давай — счупка твой,— лопотал аксакал. И снова добавил: — Максимально!

— Мужик!— заорал я нечеловеческим голосом. Мне казалось, чем громче я буду орать, тем скорее он меня поймет.— Пальто итальянское, кожаное, понимаешь? Кожаное! Итальянское! Вот бирка. Би-ры-ка!

— Пирка,— повторил он.

— И еще я тебе пять тысяч даю. Целых пять.

И выбросил на руках пять пальцев. Но аксакал заладил свое:

— Нэт палто, нэт пирка. Десат сисач давай. Максимально.

Но я не унимался.

— Дядя,— настаивал я,— я тебе даю пальто итальянское и пять тысяч. Что ж тебе еще надо?

Но тот держался стойко.

— Нэт палто, нэт пирка. Десат сисач давай — бери счупка.

Торговаться было бесполезно. В других лавках шубки стоили одиннадцать, двенадцать, а то и тринадцать тысяч. Охрипший и злой, брел я по узким улочкам, волоча за собой окончательно потерявшее товарный вид пальто, как вдруг увидел резко затормозивший джип, на котором гордо восседал замкоменданта Кабула лейтенант Саша Вихарев.

— Что случилось? — спросил он.

— Да вот, шубку жене хотел купить. Пальто даю итальянское, деньги даю, а он, гад, не берет.

— Кто не берет? — не понял Вихарев.

— Да старик в лавке. Лавка тут рядом, а он, гад, не продает.

— Так не продает или не берет? — снова не понял лейтенант Саша.

— И не берет, и не продает, гад!

— Ты погоди, объясни толком, чего он не берет и что он не продает?

— Пальто не берет, а шубу не продает,— удивился я недогадливости лейтенанта.

— Да почему ты ему пальто отдать должен? — окончательно запутался тот.

— Денег на шубу не хватает. Она стоит десять тысяч, а у меня всего пять. Вот я и хочу ему дать пять тысяч и пальто в придачу. Вместо недостающих пяти. Главное, пальто нормальное. Итальянское, почти новое. Было. Когда-то.

— Ладно, поехали.

Появление лейтенанта Вихарева, да еще с двумя автоматчиками, вызвало у старика такую бурную реакцию, какую ни до того, ни после я не видел и уже не увижу никогда. Он даже подпрыгнул, когда эта святая троица вошла в лавку.

— Ай-я-я-я-я-я-й! — заверещал он на какой-то невообразимо высокой ноте. Судя по ней, я понял, что старик уже неоднократно встречался с Вихаревым, и каждая такая встреча не проходила для него бесследно. Она всегда дарила ему несколько неожиданных, но, безусловно, приятных мгновений.

— Где шубка? — спросил у меня Саша, не обращая на вопли и пританцовывания старика ровно никакого внимания.

— Вот она,— кивнул я в ее сторону, впервые почувствовав всю неловкость и абсурдность положения, в которое попал.

— Шубку! — приказал лейтенант все еще не пришедшему в себя от внезапной радости старику.

— Есть счупка! — проклокотал тот, продолжая выделывать невообразимые па.

— Дай ему пять тысяч и пальто! — приказал Вихарев теперь уже мне.

Старик взял пальто и деньги, даже не пересчитав. Не думаю, что это была самая удачная сделка в его, несомненно, долгой жизни.

— Как ты мог? — спрашивала меня жена Ира, и в голосе ее звучали прокурорские интонации. — Как ты мог? Ведь ты же интеллигентный человек!

Я мотивировал свой постыдный поступок исключительной ситуацией.

— Ирина, — сказал я достаточно убедительно, — ты согласна, что я, в принципе, действительно интеллигентный человек?

— Допустим, — холодно сказала она.

— Представь теперь, что я хоть и с натяжкой, но все-таки по-своему интеллигентный, честный и порядочный, живу не здесь, а в Америке. Представила?

— Допустим-допустим.

— А теперь ответь! — выкинул я свой козырь. — Смог бы я, будучи интеллигентным, честным, порядочным и обеспеченным — подчеркиваю — обеспеченным американцем, пойти на такую мерзость, учитывая, что такое говно продается там на каждом шагу и за копейки? Пошел бы я на такое унижение?

Ирина задумалась.

— Вот так-то, милая. Не во мне дело-то. Не во мне! Режим виноват.

— Какой режим? — Ирина разинула рот от удивления.

— Наименьшего благоприятствования.

Объяснение если и не удовлетворило Ирину, то, во всяком случае, успокоило. И в семью вновь вернулся покой.

ГЛАВА 7,



**в которой рассказывается
о том, как я был неформально
назначен героем Афганистана**

Я решил все-таки поподробнее описать ту столь блестяще проведенную в Афганистане финансовую операцию, благодаря которой мне удалось купить Ирине шубку и еще множество всякой всячины, той, что малолетние афганские торгаши столь любовно называли «херней».

Когда один мой знакомый, человек с большим уголовным прошлым, узнал, что я лечу на гастроли в Афганистан, он по секрету сообщил, что туда «надо везти две вещи, всего две! Водки и виски для наших, шампанское и слесарные инструменты для ихних». Конец цитаты.

С водкой и шампанским проблем не было. Эту продукцию я достал сразу. Как ни странно, не было проблем и с виски. Его ни с того ни с сего забросили в близлежащий универсам. Это можно было квалифицировать исключительно как чудо, так как виски ни до того, ни после в нашем универсаме больше не появлялся. Никогда.

Что касается слесарных инструментов, то с ними тоже проблем не было. Я купил их двадцать наборов. На всякий случай. Запас карман не тянет.

Собрав все это богатство воедино, я понял, что экипирован по высшему классу, и испытал от этого факта большое моральное и физическое удовлетворение. Правда, в аэропорту мое удовлетворение несколько снизило потенцию и дало трещину. Встретившись с родным коллективом, я был крайне удивлен, увидев, что не было ни одного индивида, не взявшего с собой в дорогу ставший мне столь родным и дорогим джентльменский ком-

плект. А именно: водку, шампанское, виски и, конечно, слесарные наборы. Очевидно, у каждого из них в грязном спекулянтском мире также были свои доверенные лица.

И вот мы уже в Кабуле. Темнота кромешная. Подсвечивался только огромный висящий через всю центральную улицу плакат, на котором был изображен Леонид Ильич Брежнев, взасос целующий тогдашнего афганского лидера Бабрака Кармаля. Леонид Ильич на плакате так мощно вгрызся в рот президента, что казалось, пройдет еще одна минута, и он его рассосет, как леденец.

Поселили нас всех в одной большой комнате в Доме офицеров. И только там, когда все вывалили из своих рюкзаков, сумок и чемоданов все их содержимое, я, увидев это невообразимое количество алкогольно-слесарных наборчиков, понял, что родина на короткое время осталась и без металла, и, что самое страшное, без водки. Наши бойкие хлопцы вывезли все!

На следующее утро неизвестно откуда появился жуликоватого вида прапорщик и предложил скупить весь товар оптом. Расплачивался он чеками. Такими же чеками платили зарплату военным, и они, приезжая домой, отovarивали эти чеки в специальных магазинах, куда простому советскому человеку вход был категорически запрещен. Но... Но... Парадокс заключался в том, что если эти чеки обменять на местную валюту, которая называлась афгани, то в кабульских лавках на эти деньги можно было купить товара, во-первых, гораздо больше, а во-вторых, значительно более качественного.

Стало ясно: чеки надо менять! Но где? Но как?

Через несколько дней мы улетели в Шинданд. После концерта — традиционный банкет. За столом рядом со мной оказался огромный мужик с казацкими опущенными усами. «А это,— горделиво, но в то же время с опаской

сказал командир полка,— наш Ваня, Ванечка. Ванечка лично задушил сорок душманов. Во-о-от. Причем, что характерно, задушил исключительно руками». Эта важная подробность нас приятно порадовала.

— Да, Ваня?

— Так точно,— прохрипел Ваня и посмотрел на командира так, что мне на секунду стало страшно за него.

Но, к счастью, командир этого не заметил.

— Вот сейчас поужинаем,— бодро продолжил он,— ну а уж потом Ванюша вас попарит по-нашенски. По-славянски.

— Руками? — робко спросил я.

— Ну зачем же руками? — нервно гоготнул начальник.— Веничком, веничком.— И снова с опаской поглядел на гиганта.

Вообще, создавалось впечатление, что отношения командира и Ванюши были такими же, как, скажем, у владельца бультерьера непосредственно с бультерьером. То есть, с одной стороны, он его любил, а с другой — до ужаса боялся. Но на сей раз обошлось. Ванюша поел, попил, затем встал, прокашлялся солидно и прогудел хриплым своим басом, глядя на меня:

— Ну пошли париться, что ли?

Покорно волоча ноги, я уныло поплелся за убийцей душманов и, раздевшись, вошел в парную. Меня обдало адской жарой. Казалось, я нырнул в кипяток. Я свалился на пол, и тут в баньку вошел сам Ваня. В сапогах, в галифе, в кителе, в фуражке и с веником. Я ошизел от одного его вида.

Стегал он меня минуты две. Мне казалось, что он довел температуру моего тела градусов до восьмидесяти, во всяком случае, когда я наконец вылез из парной и свалился в бассейн, вода вокруг меня слегка зашипела.

Таким макаром добрый Ванюша, не выходя с вверенной ему территории, обработал тринадцать человек. На-

конец из бани ошпаренно выскочила последняя Ванина жертва, а вслед за ней — и сам Ваня. Вышел степенно, с достоинством, огляделся вокруг, фуражку снял, лоб платком протер и молвил:

— Ну, теперь и самому попариться можно.

Я смотрел на него и думал: «Вот он, могучий русский характер! Вот он, былинный герой, могущий одной рукой разметать сотню врагов, а другой — вторую сотню. Нам бы тыщонки три таких Вань, и проблема обороноспособности страны была бы решена раз и навсегда!» От патриотических мыслей меня отвлек капитан, которого до этого не было среди нас.

— Я слышал, вы чеки хотите обменять? — тихо спросил он.

— Хочу, — сказал я.

— Мы только что с воинской операции. Кое-что изъяли у врагов. Так что афгани у меня есть.

— Много?

— Гм... — ухмыльнулся он. — На вас хватит.

— Мы завтра улетаем. В восемь утра. Может, сейчас ченчемся?

— Не, — сказал он, — я же не здесь живу. В Михайловке.

— Где-где? — удивился я.

— В Михайловке, а где же еще?

— А что, в Афганистане уже Михайловка появилась?

— Дык обживаемся потихонечку, — буднично сказал капитан.

— Тогда, значит, Я должен к вам приехать?

— Да тут езды-то всего ничего. Сначала по этой дороге, — и он показал куда-то вдаль, — потом свернешь направо, увидишь три модуля — это Михайловка и есть. Средний модуль мой. Комната двенадцать.

— Ладно, — решил я. — В шесть утра я у вас.

Я нашел шофера командира полка, отвел его в сторону и спросил:

— В Михайловку отвезешь? Туда и обратно. Двести афгани заплачу.

— Не вопрос,— кивнул он.

— В пять тридцать завтра. Не позже, иначе на самолет опоздаю.

— Ну я же сказал — не вопрос,— промолвил он зевая.

Я собрал все чеки, заработанные моей братвой в праведной битве с жуликоватым прапорщиком, сложил их в дипломат и уснул. А наутро ровно в пять тридцать, как и было условлено, я уже стоял у гостиницы.

Прошло пять минут. Шофера не было.

Прошло еще десять. Шофера не было.

К шести часам стало ясно, что если я не уеду сию минуту, то вся кредитная история накроется медным тазом.

На мое счастье, впереди запыхала машина. Машина была такая старая и грязная, что ее марку невозможно было определить. За рулем сидел афганец. Настоящий афганец — с чалмой, огромной бородицей и колючими недобрыми глазами. Но мне уже было все равно. Я вошел в азарт, как входит в раж игрок в казино, проигрывающий с каждым разом все больше и больше и не могущий остановиться.

Я голоснул. Он тормознул.

— В Михайловку,— сладко пропел я.— Заплачу.

Вы не поверите. Мы поехали.

И вот уже тот самый поворот, а за поворотом столбик, одиноко стоящий у дороги, а на столбике написано: «Михайловка».

Я вышел и направился к модулю. Шел, как и было указано, к среднему. Захожу. Узкий темный коридор.

Ага! Вот она, комната номер 12. Я стучу. Никто не открывает. Опять стучу. Опять никто не открывает. Нервы на пределе.

Толкаю дверь ногой. В нос ударил жуткий запах блевотины, мочи и пота. Передо мной предстала комната метров трех с половиной. В комнате кровать. На кровати — мертвецки пьяный знакомый капитан, а с ним две бабы в таком же состоянии. Я начинаю его тормошить. Наконец он открывает глаза.

— Афгани давай, — взволнованно зашипел я.

— Какие афгани? Что за афгани? Ты как сюда попал? — с бодуна не понял он.

— Ты что, забыл?

Нервы уже были не то что на пределе, мне казалось, еще секунда, и они взорвутся к чертовой матери.

— Ну мы же вчера договаривались, капитан!

Он начал медленно приходить в себя. Помотав головой, выпил воды из грязного графина и кряхтя залез под кровать, откуда выгреб огромный фибровый чемодан. Чемодан был забит афганями. Такого количества денег я не видел никогда.

Наконец с расчетами было покончено, и добрая четверть чемодана перекочевала ко мне. Деньги я сложил в пакет и, не попрощавшись, выбежал из модуля.

Машина стояла. Я сел, залез в пакет рукой, не глядя вынул оттуда пачку денег, сунул их афганцу и сказал: «Обратно. Только быстро, умоляю!»

Афганец рванул. Вернулся я за пятнадцать минут до отлета. Наши находились в состоянии шока. Куда уехал? С кем уехал? Когда уехал? Я ведь никому ничего не объяснял.

При виде меня все облегченно вздохнули, а уж узрев в моих руках волшебный шелестящий пакет, и вовсе приободрились.

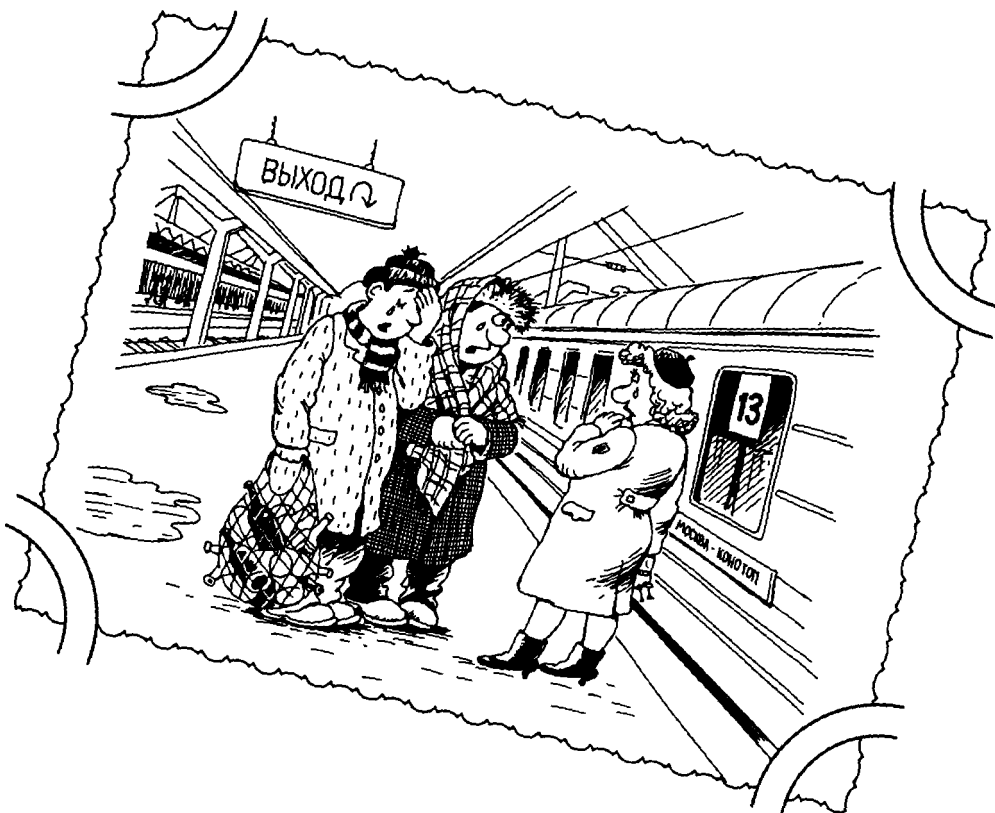
В самолете я раздал всем сестрам по серьгам, то есть каждому его долю. Раздав, закрыл глаза и подумал: «Какой же ты дебил! В стране, в которой идет война, садишься в

незнакомую машину с аборигеном. Да он мог увезти тебя куда угодно, и далее, как в песне, — „и никто не узнает, иде могилка твоя“». Но ангел-хранитель спас меня и на этот раз, а я получил почетную кличку — Герой Афганистана.

Причем, как ни крути, получил я ее исключительно за фарцовку. Думается мне, что я являюсь первым фарцовщиком в мире, которого за проведение незаконных валютных операций не только не посадили в зиндан (милая разновидность восточной тюрьмы), но еще и наградили почетным воинским званием. Правда, нелегально.



ГЛАВА 8,



**про то, как я решил стать
бизнесменом
и потерпел фиаску**

Но вернемся в цирковое училище. Четыре года учебы прошли под знаком борьбы за выживание. Я учился на отделении клоунады и стипендию получал поистине клоунскую. Двадцать рэ.

Чтобы хоть как-то пополнить свой бюджет, мы все время находились в поисках побочных средств к существованию. Наши финансовые фантазии были неисчерпаемы. Мы покупали четырехкопеечные соски, надували, раскрашивали и продавали уже по десять копеек. Мы надевали на себя рыжие парики, красные носы и стояли у метро с плакатами типа «Не дайте погибнуть молодому дарованию». Почему нас не забирала милиция — не знаю.

Апофеозом всего стала операция по изыманию стеклотары на Казанском вокзале.

Учился с нами на курсе некий Слава Сизоненко. Был он намного старше нас, и вся его тревожная молодость прошла, как и у великого пролетарского писателя Максима Горького, «в людях». Правда, только это и объединяло Сизоненко с великим пролетарским писателем. Славик разработал много способов добычи денег, но любая попытка внедрить тот или иной способ в жизнь обычно заканчивалась его избиением. Тогда он решил призвать на помощь меня. Очевидно, полагая, что, когда бьют двоих, это не так обидно.

— Есть план! — сказал он мне.— Есть очень хороший план. Но для начала скажи: что остается в вагоне, когда поезд прибывает на конечную станцию?

— Мусор остается,— мрачно пошутил я.

— Грязь, мусор — само собой. А еще что? — Он вывел рукой воображаемый знак вопроса и сам себе ответил: — Бутылки остаются.

— Ну и что? — спросил я.

— Объясняю объяснение. Мы сейчас едем на Казанский вокзал. Поездов на Казанском навалом, так? Так! Дожидаемся ближайшего. Так? Так! Пассажиры выходят, проводникам не до нас. Так? Так! И вот тут-то мы, пользуясь суматохой, врываемся в вагон, хватаем по жмене бутылок, делаем ноги в следующий вагон, потом в третий, четвертый и таким образом проскакиваем весь состав.

План был неплох, тем не менее первая попытка завершилась сокрушительным провалом. Ворвавшись в вагон и увидев несметное количество пустой посуды, Сизоненко оборзел от жадности и, вместо того чтобы взять, как мы договаривались, несколько бутылок, решил хапнуть все. Тут-то его и накрыли проводники. Разговор вышел недолгим. Секунд эдак через пять Сизоненко был позорно выброшен прямо на перрон. При чем плашмя.

— Нет, дружочек, так не пойдет,— сказал я Славику, нежно стряхивая с него железнодорожную пыль.— Не надо заниматься рвачеством. Надо людям вежливо растолковать, что мы — бедные студенты, что в Москве у нас никого нет, что родители где-то далеко, а стипендия маленькая. И все в таком духе. И просить не больше двух бутылок. Понимаешь, Славик? Не больше двух. Народ расчувствуется, а две бутылки им всяко погоды не сделают.

— Ладно! — буркнул Славик.— Только просить будешь ты.

— А ты что будешь делать?

— Я буду плакать.

В училище Славик славился тем, что мог заплакать по первому требованию. А когда такой здоровый детина, как Сизоненко, начинал рыдать, это вызывало сочувствие даже у покойников.

— Внимание, внимание! — прогавкал вокзальный репродуктор.— Поезд номер двадцать шесть Барнаул — Москва прибывает на первый путь.

— А ну, повтори, гнида,— оскалился Сизоненко, и репродуктор охотно прогавкал еще раз:

— Повторяю! Поезд номер двадцать шесть Барнаул — Москва прибывает на первый путь!

Мы дружно смешались с толпой встречающих.

— Товарищ проводник,— затараторил я сладеньким голоском,— будь человеком. Перед тобой два студента. Нам нечего есть. Со вчерашнего утра росинки маковой во рту не было. Дай две бутылки на булочку.

Сизоненко облился безутешными слезами.

— Щас, мужики, щас,— засуетился обалдевший проводник и вынес не две бутылки, а четыре.

Процесс пошел. Я тараторил, Сизоненко рыдал, проводники стонали и слаженно выдавали посуду.

С каждым разом мы нагтели все больше и больше, а смысла в жалостливой «просилке» оставалось все меньше и меньше. В конце концов «просилка» приняла форму короткого приказа: «Денег нет! Бутылки давай!» Славик выплакал полугодовой запас слез и только усердно протирал платком сухие глаза.

К вечеру мы заработали сумму, превышающую месячную стипендию раза в полтора. Надо было возвращаться в общежитие. Но Славой овладел прямо-таки какой-то дух стяжательства.

— Еще один поезд — и все! — возбужденно шептал он.

— Сизоненко,— пытался урезонить его я,— ты глянь в расписание. Поездов до ночи не будет.

— А в тупике что, не поезда? — жарко нашептывал Слава.— Хвосты видишь? Вон их сколько.

Мы поплелись по путям, дошли до ближайшего состава и постучали. Дверь открыла пожилая проводница. Силы были на исходе.

— Тетя! — устало произнес я.— Тетя, мы студенты. Дайте нам пару бутылок, а мы на них колбаски купим.

Из тети хлынул фонтан слез.

— Господи! — заламывала руки проводница.— У меня сын у Полтаве учится. Неужто и он по вагонам побирается, кровинка моя! Сейчас, хлопцы, погодьте — вот, возьмите пятьдесят копеек, а я в вагон сбегая — еще принесу.

Меня обдала волна стыда.

— Да вы что? — гордо и гневно сказал я.— Да как вы смее? Мы что — бродяги бездомные, что ли? — И посмотрел на Сизоненко, ожидая от него такой же решимости.

Сизоненко круто ломало. Он понимал, что брать полтинник у напуганной женщины неэтично, но монетка так соблазнительно сверкала, что отказаться от нее ему казалось еще неэтичнее.

— Мы, как говорится, вообще, деньги не так чтобы вообще,— важно пробасил он.— Но раз, как говорится, вы сами как бы нам, того, значит, ну и, конечно, раз уже, как говорится... Тем более сын в Полтаве, так что тут уж, как говорится, сам Бог, как говорится. Ну ладно уж, хорошо, возьмем мы ваш полтинник.— И, забрав монетку с таким видом, будто сделал проводнице огромное одолжение, царской походкой двинулся от вагона.

Больше с Сизоненко я на промысел не ходил.

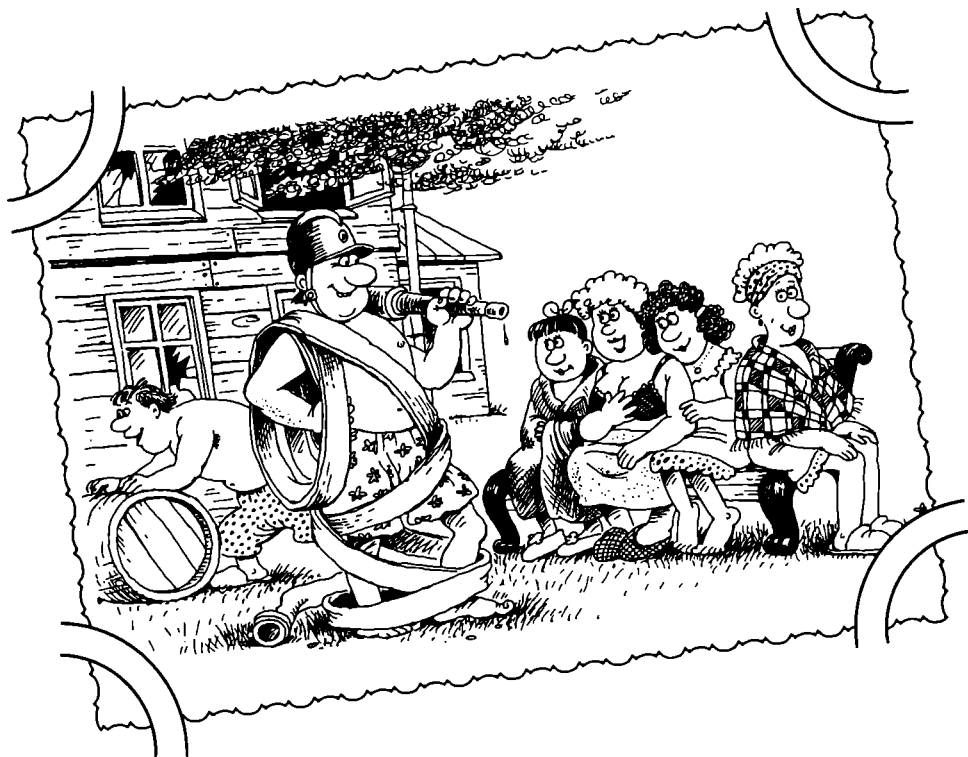
Тогда Сизоненко сменил курс. Теперь вместе с ним на отхожий промысел стал ходить Лешка Антипов. Лешка был маленького роста, но жилистый и не по годам нервный. В каждом встречном он искал и находил потенциального врага, и горе было тому, на кого падал его пету-

шиный нахальный глаз. Без предупреждения, с криком «Ч-ч-черт ебаный!» (поскольку он заикался), он бросался на ни в чем не повинного обидчика и избивал его в кровь. Вот такого пацифиста взял себе в спарринг-партнеры Слава Сизоненко.

Недолго длился этот союз. В светлый праздник Пасхи эти два искателя легкой наживы зашли в Елоховский собор. Но отнюдь не для того, чтобы отдать дань Господу. Они увидели перед собой огромную толпу верующих, наверху хор распевал праздничные псалмы, а прямо перед ними стоял служка, на блюдо которого всяк приходящий клал деньги, кто сколько мог.

При виде купюр у Антипова началось помутнение рассудка и, набросившись на бедного служку со словами «Ч-ч-черт ебаный! Наха-ха-хапали н-народное д-добро», он выхватил у потрясенного служителя церкви блюдо и побежал. Бежал он недолго. Это даже и бегом нельзя было назвать, так как находящаяся в религиозном экстазе толпа взяла его в коробочку, бросила оземь и начала ритмично избивать со словами: «Получи, нехристь, в светлый день по яичку! А по куличу мы тебе на улице выпишем».

ГЛАВА 9,



**про то, что спасение
угорающих — дело рук
самих угорающих**

Общежитие циркового училища располагалось в Кунцеве, метрах в двухстах от станции.

Ничто не предвещало того, что Кунцево вскоре станет одним из самых престижных московских районов.

Это был небольшой уютный поселок, состоящий в основном из небольших деревянных домов, в центре которого стояла наша общага, где и жили двадцать молодых, пышущих здоровьем бугаев. Общага была настолько стара, что помнила еще времена Наполеона. Во всяком случае, как утверждал комендант, первый раз она горела в 1812 году.

Только не тогда, когда вся Москва была сожжена из патриотических побуждений, а несколько позже.

Да и причина была более прозаическая, нежели у Кутузова. Пьяный кучер, используя войну с французами в корыстных целях, поймал в сенях дворовую девку, чтобы надругаться. А так как в сенях было темно и надругаться над жертвой в столь нерабочих условиях было несподручно, то он, подлец, разжег лучину и начал свое бандитское дело. А девка, как назло, так разохотилась, что и забыла, дуреха, что ее силой взяли. «Ишшо,— говорит,— хочу!» А кучеру только того и надо.

Тут-то сени и занялись. Любовнички сначала не заметили. А потом увидели вроде, а остановиться не могут. Вот ведь народ — видят же, что горят, а не могут. В общем, оба накрылись.

Врал, конечно, но каждый раз, рассказывая эту трагическую легенду, комендант заканчивал ее одними и теми же словами:

— Так что, стервецы, коды увключачити газ, будьти осторожны с огнем! И сигаретками нечего шмалить на территории — самовозгоримся к едрене фене!

Так общага и жила! В ожидании самовозгорания. И, хотя ждала она его ежедневно, пожар, как оно и бывает, случился неожиданно.

Произошло это 9 Мая. Вся страна с ликованием встречала День Победы, ну и мы, сирые ее дети, привезя в общагу несколько пудов выпивки и взвод баб, тоже дружно присоединились к всенародному празднику.

Шухер стоял на всю округу. Танцы-шманцы-обжиманцы, песни под гитару, ор, рев — в общаге густо запахло развратом. Гуляли истерично, пока некая особа — по всему виду, серьезная девушка, — деловито посмотрев на часы, не произнесла:

— Ну-с, как говорится, делу — время, а потехе — час! Пошустрили и будя. Айда по койкам!

Через несколько минут двухэтажный особнячок погрузился во тьму и, по-старчески осев, начал недвусмысленно поскрипывать. Лежащая рядом со мной растекшаяся, как капустный лист по огороду, цирцея после весьма недлительной фиесты, глядя в бесконечность, нежно проворковала:

— Боже, какой удивительный рассвет, прямо как у Тургенева!

Я поначалу не обратил никакого внимания на вдохновенные слова лирически настроенной партнерши. Но поэтическое настроение не покидало ее.

— Неужели ты не видишь, какой сегодня багряный рассвет? — продолжала допытываться она.

«Какой еще, на хрен, рассвет в два часа ночи?» — подумал я и неохотно подошел к окну. То, что тургеневская поклонница приняла за восхитительное явление природы, на самом деле оказалось весело полыхающим флигельком.

— ПОЖА-АР! — завыл я зычным голосом. Однако увлеченные любовью цирковые бугаи не отнеслись к моему тревожному кличу с должным вниманием.

— Да пошел ты...— неслось из комнат.

— Козел!!!

— Кайфоломщик, нашел время хохмить...

— ПОЖА-АР!!! — продолжал завывать я, и бугаи, наконец прочувствовав в моем кликушестве полное отсутствие юмористических интонаций, повскакав в чем мать родила, неорганизованным стадом чухнули к выходу. За ними вслед, попискивая и повизгивая, выпорхнули испуганной стайкой наши пташки. А выскочив и прикрывшись, кто подушкой, кто полотенчиком, они дружно уселись на скамеечку, всем своим видом показывая, что ждут от нас показательных выступлений, причем как групповых, так и индивидуальных.

Не находишь они в эту праздничную ночь рядом — никто бы и пальцем не пошевелил, но присутствие столь причудливо одетых и к тому же только что охваченных нами дам настолько возбудило наше бугайское сознание, что мы готовы были погасить даже солнце, а не то что какой-то занюханый домик.

Народ приступил к героическому тушению. Признаюсь, больше никогда в жизни я не совершал такого количества бессмысленных поступков, как в ту ночь. Да что там я?

Все мы, в каком-то непостижимом, диком стремлении понравиться беззаботно сидящим на скамеечке боевым подругам, суетились, колготились — словом, делали все,

чтобы не только не погасить пламя, но и заставить его бунтовать еще пуще.

В жуткой суматохе мы принялись спасать железную, а потому никак не могущую загореться бочку с песком и доспасались до того, что обрушили стоящий рядом и уже вовсю полыхающий забор на находившегося подле него флегматичного, неуклюжего Колю Сорокина. Забор покрывалом накрыл собой жирное сорокинское тело, а тот, совсем уже было готовый вовсю заорать: «Угораю, бляди!» – вдруг, вспомнив про девушек, благородно заметил:

– Жарко что-то, плесните там что-нибудь.

Потом все-таки решили вызвать пожарных. Пожарные приехали, развернули шланг, выцедили из его недр ржавую одинокую каплю, свернули шланг обратно и со словами «И куды только эта вода девается, етишкина мать?» уехали. Так что дотушивать пожар опять-таки пришлось нам. Через час со стихийным бедствием было покончено.

Счастливые и довольные, покрытые гарью, мы вновь вошли в погасшее, но еще пахнувшее жареным общежитие, где и продолжили празднование.

Прочитав докладную коменданта о «героическом поведении студентов» с просьбой выдать каждому в качестве поощрения по десять рублей, директор училища порвал ее.

– Им по червонцу дашь, а они напьются и сожгут общежитие окончательно, – мудро заметил он и приказал объявить благодарность, кою мы и отметили выпивкой.

Я прожил в этом памятнике деревянного зодчества около двух лет и сохранил о нем множество приятных воспоминаний. Например, о том, как мы питались.

С занятий все возвращались поздно, а возвратившись, принимались готовить. Все, кроме меня. Я обычно так напихивался в обед, что был уверен: к ночи никак не захочу есть. «Ну,— думал я, садясь за обеденный стол и оглядывая немислимое количество тарелок с дешевыми гарнирами,— уж сегодня я обязательно наемся так, что до завтра хватит». Но вечером, придя в родное логово, с удивлением обнаруживал у себя чувство голода. Чувство это усиливалось упоительным запахом жареной картошки, доносящимся со стороны кухни,— единственным доступным лакомством для его безалаберных обитателей.

Попроситься на халявку мне казалось неудобным. В конце концов, я и сам мог пойти в магазин и купить килограмм той же картошки. Но, как я уже говорил, ошибочное дневное убеждение, что сегодня мне точно не захочется, мешало добраться до торговой точки.

Иногда я покупал докторскую колбасу. Граммов сто. Для того чтобы колбасы казалось побольше, я разрезал ее на бесчисленное количество мелких кусочков, пока на подстеленной газетке не возникала эдакая колбасная пирамидка Хеопса. Но соблазнительный запах, идущий с кухни, не давал мне получить полное удовлетворение от докторских обрезков.

Однажды я, преодолевая обеденную сытость, все-таки заставил себя заглянуть в овощной отдел. И вот уже отборная картошка бултыхалась в пакете, смиренно дожидаясь своего конца. Я любовно омыл ее, аккуратно освободил от шкурки, разрезал тонкими ломтиками, приготовил сковородку... и вдруг вспомнил, что не купил масла.

Масло в общежитии по причине дороговизны относилось к предметам роскоши. Возможность приобрести его без ущерба бюджету имели всего несколько че-

ловек, и все они по этой причине считались куркулями. Они как бы являлись монополистами и задарма масла не давали. Продать могли, но чтобы за так?.. Да не в жисть!

Живший вместе со мной Володя Шмагало (мы прозвали его Жигало, так как за кусочек сыра он мог переспать даже с пожилым ежиком) волком рыскал по комнате. По всему было видно, что Шмагало не прочь перекусить, да вот беда — нечего.

— Шмагало,— затаенно спросил я,— ты, случайно, не знаешь, у кого есть масло?

При слове «масло» Шмагальи глаза алчно блеснули.

— У Петьки Толдонова,— с ненавистью сказал он.— У него кулацкое рыло!

По всему ощущалось, что с голодухи внутри Шмагало назревала революционная ситуация.

— Хавать хочешь? — забросил я удочку.

— А то! — откликнулся Шмагало.

— Тады пошли к Петюне.

— А что мне за это будет? — поинтересовался изголодавшийся Шмагало.

— Картошка будет! Жареная! — пообещал я.

— Привет, Толдонов! — тепло поздоровались мы с еще ничего не подозревающим масляным монополистом. Я стал шарить глазами по комнате в поисках вождельной бутылки и вскоре нашел ее на шкафу, хитро замаскированную коробками.

— Чего пришли? — спросил Толдонов, косо поглядывая на непрошенных гостей и нутром чуя какой-то подвох.

— Да так! — как-то чересчур по-доброму сказал Шмагало.— Поболтать, покалякать...

— Делать мне больше нечего, кроме как с вами разговоры разговаривать,— огрызнулся Толдонов.

— Нет, ты погоди, ты послушай...

И тут Шмагало включил третью скорость и пулеметной очередью принялся извергать на бедного Петюню миллиарды слов, смысл которых не имел никакого значения. Значение имел темп, а темп, товарищи, Шмагало задал бешеный.

Толдонов оцепенело выслушивал Шмагалье стрекотанье, а я, воспользовавшись паузой, подкрался к шкафу, цапнул заветную бутылку, заглотнул чуть ли не на четверть и стремглав кинулся из комнаты к сковородке, куда и выплеснул ее пахучее содержимое прямо изо рта. Масло приятно зашкворчало. Я забросил туда уже нарезанную картошку и начал шкворчать вместе с маслом. Вскоре притопал и Шмагало.

— Жарится? — вдохновенно спросил он, и так видя, что жарится.

— Ну, как там Толдонов? — поинтересовался я на всякий случай.

— Да ничего он не заметил, твой Толдонов, — отмахнулся Шмагало, полностью погруженный в процесс жарения. — Эх, сейчас бы чайку, — мечтательно произнес он, — да с заваркой напряженка! Может, опять к Толдонову? У него и заварка есть, я точно знаю! А я бы поотвлел, а?

Но я решил не искушать судьбу дважды.

— Как-нибудь в другой раз, — сказал я и, зажав ручку сковородки тряпочкой, чтоб не жглась, понес ее на съедение.

А однажды на какой-то студенческой пьянке я познакомился с Юрой Николаевым.

Он, как и я, приехав в Москву из Кишинева, учился на втором курсе театрального института и знать не знал, что впереди его ожидает слава популярного телеведущего «Утренней почты».

Общежитие ГИТИСа, в отличие от нашей куриной избенки, находилось в самом центре, неподалеку от Рижского вокзала.

Рижский вокзал был хорош тем, что на нем частенько ночевали туристские поезда, к которым в обязательном порядке подцепляли вагон-ресторан.

То, что туристы не подъедали за день, оставалось на ночь. Мы же, зная об этом, совершали иногда ночные набегии на поваров. Это, конечно, нельзя было квалифицировать как грабеж, поскольку делалось все деликатно и вежливо.

Я приезжал к Юре, он прихватывал с собой кастрюльку, и вот, на ночь глядя, с кастрюлькой наперевес, мы направлялись к ближайшему составу с рестораном. Тихо скреблись в вагонную дверь, дожидаясь, пока она растворится, и на немой вопрос повара протягивали пустую кастрюльку, говоря только:

– Батя, шваркни чего осталось, все равно выбрасывать!

Говорил в основном я, а сам Юра, покрываясь от смущения пунцовой краской, застенчиво протягивал кастрюльку. Ему было чего смущаться – отец Юры служил начальником тюрьмы, и весь город находился в курсе того, что его единственный сын учится в Москве на артиста. Узнай случайно Николаев-старший, что возлюбленное чадо, вместо того чтобы жадно поглощать знания, жалостливо ошивается с кастрюлькой у вагона-ресторана, пристрелил бы сынка прямо у вагона вместе со мной, поваром и всем составом.

Пока баловень судьбы сгорал со стыда, я бессовестно торговался с поваром, еще и укоряя его при этом:

– Чего ж ты, батя, одной гречки напхал, можно было и мясца подкинуть!

И так далее. Мне, в отличие от Юры, стесняться было нечего, мой папаня в то время, находясь под следствием, работал грузчиком.

Повар уходил и, как правило, возвращал кастрюльку уже с мясом, кое мой новоиспеченный приятель, с благодарностью поглядывая на меня, урча и похрюкивая, поглощал тут же, не отходя, как говорится, от кассы.

В такие минуты я ощущал себя матерью-одиночкой, которая недоедает сама, но отдает безоглядно и жертвенно последние крохи своему малорослому, болезненному малышу.



ГЛАВА 10,



О ТОМ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ — ИГРА

Окунаясь в ностальгию, нельзя не вспомнить о любимом нашем развлечении — игре под названием «Нарпәр контролера».

Суть ее была незатейлива как повидло — проехать в электричке без билета, так как в училище нам приходилось добираться именно на этом виде транспорта. И хоть месячный проездной и стоил всего 80 копеек, покупать его считалось моветоном, а проще говоря — западло.

Это была давняя традиция, и не нам было ее разрушать. Я, по незнанию, трепыхнулся как-то к кассе, но товарищи одарили меня таким выразительным взглядом, что я тут же отказался от этой нелепой выходки.

Особенно же согревало наши мятежные души то, что священная традиция поддерживалась не только снизу, но и сверху — училищные бухгалтеры прямо-таки с каким-то остервенением выбрасывали пачки приходящих квитанций, не только не читая их, но даже и не разглядывая.

Росло в нашем дворе грушевое дерево. Толку от него не было, так как плоды, которые оно давало, были гнилые и червивые. Никому бы и в голову не пришло есть подобную гадость. Но дерево не трогали — росло себе и росло. Кто-то из наших придумал историю, происходящую на базаре. Придумал, чтобы разыграть ее как этюд на уроке актерского мастерства — был у нас такой предмет. Основной, между прочим. Мне в этой истории отводилась роль узбека-спекулянта. Чтобы придать ей бóльшую до-

стоверность, я обкорнал дерево и, собрав полную сумку фруктового дерьма, поехал на занятия.

Контролеры появились неожиданно. Как понос. А появившись — сразу направились ко мне. Дебют прошел в блестящем пиитическом стиле.

— Ваш билет?

— Билета нет!

— Документ!

— Один момент!

Однако далее наш разговор из возвышенного — стихотворного — русла плавно перетек в грубо прозаическое.

— Стало быть,— проявили смекалку контролеры,— нет ни билета, ни документа?

— Стало быть, нет! — подтвердил я, пораженный их нечеловеческой прозорливостью.

— Чем объясняете свой антиобщественный поступок? — безуспешно попробовали они воздействовать на мое гражданское сознание.

— А ничем не объясняю,— хорохорился я.— Потерял и все.

— Ну что ж,— громогласно провозгласили блюстители порядка,— тогда придется изымать штраф. А в случае неплаты доехать до ближайшего отделения милиции для составления протокола.

— Видали? — сказал я всему вагону, театрально выкинув руку в сторону контролеров, точь-в-точь как памятник Пушкину на Тверском бульваре.— Билет им понадобился! А у кого они так бесцеремонно его выпрашивают, им известно?

Вагон, наполовину состоящий из таких же безответственных безбилетников, как и я, а потому — искренне заинтригованный желанием узнать, у кого же эти моральные уроды так опрометчиво потребовали проездной документ, даже привстал в ожидании скорой развязки.

— У студента они требуют! — продолжал я, распаясь не на шутку.— У бедного студента, покинувшего отчий дом ради образования — образования не корысти ради, а исключительно во благо отечеству! У студента, не могущего позволить купить себе не то что билет, а элементарный коробок спичек!

Пассажиры, на мгновение представив себе, как я в поисках копеечки выворачиваю наизнанку карманы, с непередаваемой ненавистью посмотрели на контролеров. А те, совершенно не понимая, что происходит, недоуменно поглядывали друг на друга.

— А знают ли эти так называемые гуманисты, что, например, этот человек ест? — дерзко спросил я, неожиданно заговорив о себе в третьем лице, и, открыв сумку, вывалил из клеенчатых недр все ее червивое содержимое прямо на пол.

По вагону начал активно распространяться омерзительный сладковато-трупный запах. А так как на занятия я ехал отнюдь не один, а с целой группой таких же развездяев, то все они, моментом раскусив ситуацию, ни секунды не раздумывая, набросились на слипшиеся отходы с какой-то животной страстью и на глазах потрясенных пассажиров принялись поедать эту поистине адскую смесь, вырывая из рук товарищей грушевые хвосты и обсасывая их, как изнеженный гурман куриную косточку.

В вагоне воцарилась страшная тишина. Даже колеса стучать перестали. Оно и понятно — зрелище было не из приятных. Душераздирающее было зрелище. Выйдя из столбняка, какая-то чистенькая старушка перекрестилась и, плюнув в сторону насмерть перепуганных контролеров, бросила им в лицо:

— Фашисты! Палачи! Нелюди! Неужели вас мать родила? Да как же вас земля-то носит?

— Да чё там говорить, ваще,— сочувственно отозвался несвежий гражданин из тамбура, судя по пальте — не директор Института ядерной физики.— Душить таких сволочей надо! Беспощадно!

По всему было видать, что он и сам бы с легким сердцем исполнил эту полезную социальную процедуру, да вот беда — на работу опаздывает. Некогда.

Я не знаю, каким бы историческим катаклизмом обернулась эта история, но, к счастью для моих обидчиков, электричка остановилась, и, благодаря судьбу за чудесное спасение, едва не растерзанные толпой контролеры вышмыгнули наружу. А мы, опрометью бросившись в темный угол и проклиная собственную находчивость, принялись с ненавистью выковыривать из зубов остатки только что поглощенного яства, после чего, выпив лошадиную дозу марганцовки, дружно направились к гастроэнтерологу.

Вообще, мы часто устраивали в электричках некое подобие театрального действия.

Однажды сокурснику Виталику Довганю кто-то из его родственников сдуру подарил стартовый пистолет. Солидный такой, массивный. Если не знать, что стартовый, можно и трухануть. Довгань его все время носил с собой.

— Да я так, на всякий случай,— оправдывал себя он.— Вдруг шпанюга какая-нибудь нападет? А я бац-бац — и готово!

Но шпанюги, как назло, не покушались на Довганя, а скорее наоборот — всячески игнорировали. Зато менты при виде тяжело оттянутого кармана слетались на него, как мухи на мед. При первой же вязке Довгань честно признался, что пистолет ему подарила родная тетя, помещанная на оружии, и чуть было не лишился любимой игрушки. Отпустили его только после того, как он поклялся

подаренную теткой цацку с собой не таскать, а хранить ее в ящике стола подальше. Сержанту, задержавшему Довганя в следующий раз, Виталик, наученный горьким опытом, доверительно сообщил, что он – легкоатлетический судья и прямо сейчас едет на спартакиаду судить соревнования бегунов. Для того чтобы сержант не сомневался в правдивости сказанного, он сунул ему под нос кусок красной материи, случайно оказавшийся в сумке, клятвенно божась и убеждая его, что именно эта алая грязная тряпица, несмотря на невзрачный вид, как раз и является судейской повязкой.

На справедливый вопрос сержанта: «А где, собственно, надпись, подтверждающая, что она именно судейская, а не половая?» – Довгань, преданно заглядывая в милицейские глаза, сказал:

– А бог его знает! Стерлась, наверное.

Дело было в декабре, и потому неугомонный сержант задал еще один провокационный вопрос: «А кто же это будет бегать в одной майке по такому морозу?» – и Довгань, смекнув, что дело опять пахнет керосином, объяснил настырному сержанту, что в спорткомитете тоже не дураки сидят и что спартакиада проходит в закрытом помещении.

Версия летней спартакиады, проходящей в декабре, но взаперти, успокоила бдительного сержанта.

А Виталик с тех пор при каждом очередном задержании бодро докладывал, что он судья, и, помахав в качестве главного аргумента кровавой повязкой, интеллигентно раскланивался и пропадал.

Шли месяцы. Стартовый пистолет безнадежно скучал в довганевском кармане, а вместе с ним томился и его деятельный хозяин.

Иногда, выйдя в наш уютный дворик, он постреливал в воздух, распугивая ворон и кошек, но такой бес-

смысленный расстрел не удовлетворял высоких довганевских амбиций. Ему хотелось испробовать пугач в настоящем деле: мысль эта занимала его постоянно. И фортуна решила пойти ему навстречу. Лучше бы она этого не делала.

Мы стояли на платформе Белорусского вокзала в ожидании последней электрички. Неподалеку, обсасывая свою безумную идею, слонялся, приподняв воротник, несостоявшийся ворошиловский стрелок. Ожидающие поезда с подозрением поглядывали на его сутулую, нахолившуюся от холода фигуру. Это и понятно — походка бочком, редкие лошадиные зубы, разбросанные по рту нещедрой рукой пьяного сеятеля, узкие азиатские зенки, хищно поблескивающие из-под тяжелых роговых очков, — все это наводило на мысль: уж не болтается ли по перрону неопознанный органами КГБ коварный японский шпион?

Рядом с Довганем покуривал Ленька Вербин, его полный антипод. Он являл собой классический образ преступника по системе Ломброзо. Низкий лоб, сросшиеся брови, хриплый голос, многодневная щетина и, наконец, огромные кулачищи — весь этот прелестный набор при встрече с Лешкой на пустынной улочке вызывал у случайного прохожего одно желание — громко и страстно заржать во все горло: «КАРАУЛ!!!»

По всему было видно, что Довгань, прицелившись орлиным взором в курившего Вербина, дозревал. А дозрев, подошел к нему и замурлыкал сладко:

— Лелик, я придумал мулечку. Я — как бы оперативник, а ты — как будто уголовник. Порознь мы садимся в электричку. Ты почитываешь журналчик, ни о чем таком плохом не догадываешься, и тут подхожу я и прошу предъявить паспорт. Ты, ничего не говоря, бьешь меня в пах, ну, не по-настоящему, конечно, а якобы бьешь, я в ответ

вынимаю свой пистоль, шарашу из него, ты хватаешься за ногу, падаешь, я валюсь на тебя, имитируем драчку, я тебя вяжу, после чего всем сообщаю: «Внимание, уважаемая публика! Это был актерский этюд на тему поимки крутого авторитета. Второй курс, отделение клоунады, цирковое училище». Народ в отпаде, всеобщая ржачка и ликование. Мне кажется, неплохо придумано. А тебе?

На секундочку представив себе, какую реакцию вызовет у полусонных пассажиров «сладкая парочка», собирающаяся устроить дебош с пальбой, а потом весело общающаяся, что это была всего лишь невинная актерская шутка, я, войдя в вагон, благоразумно отсел подальше от места предполагаемого побоища.

Человек десять, скорее всего работяг, возвращавшихся после второй смены, разбрелись по разным углам и задремали. Тревожило, что работяги подобрались мужики крупно-упитанные и их угрюмые усталые физиономии явно не были готовы к восприятию остроумной, как ошибочно казалось Довганю, сценки.

Когда Вербин вошел в вагон, я на всякий случай съежился и втянул голову в шею. Вербин, как и было условлено, раскрыл журнал и, делая вид, будто читает, затравленно озирался по сторонам. Об этом они с Виталиком не договаривались — это была маленькая актерская находка самого Вербина.

Работяги, почувствовав неладное, как по команде открыли глаза и принялись напряженно разглядывать незнакомца. Затем в дверях появился Довгань и начал про-сверливать узкими азиатскими глазками всех сидящих. Сидящим это вряд ли могло понравиться — при виде полуслеплого японского диверсанта они напряглись еще больше. Интуиция подсказывала Довганю, что обстановка накалена несколько сильнее, чем он предполагал, но навязчивая идея использовать пистолет в деле напрочь

забила в нем возникшее было чувство опасности. Не мешкая, он подошел к мифическому убийце и рывкнул ему в самое ухо: «ПАСПОРТ!!!» — на что довольно возбужденный к этому моменту Вербин отбросил, как они и договорились, журнал и, вспрыгнув на сиденье, лихо ударил Довганя в пах.

Но, войдя в раж, ударил не «якобы», как просил Виталик, а очень даже ощутимо.

Бедный шпион, он же бесстрашный оперативник, от неожиданности взвыл и, взвившись под самый потолок, бесформенным мешком рухнул оттуда на Вербина, успев при этом нанести ответный удар в то же заветное местечко.

Теперь взвыл и взвился ввысь Ленька. Эта замечательная пантомима повторялась несколько раз — то один, то другой подлетал к потолку, не забывая при всем при том больно стукнуть партнера по мужскому достоинству. Со стороны это напоминало катание на качелях: вверх — вниз, вверх — вниз... С той только разницей, что в отличие от настоящих качелей от этих качающиеся не получали ровным счетом никакого удовольствия. Скорее наоборот. Стало очень тихо. Было слышно только, как мошонки хрустят.

Работяги, сцепив кулаки, пока еще молча наблюдали за дерущимися. Пока! Закончи однокурснички нелепую потасовку прямо сейчас, все, возможно бы, и обошлось, но ведь Довганя эту драчку не просто так затеял — ему ж показательные стрельбы захотелось устроить... И он, воспользовавшись очередным вербинским улетом под потолок, по-ковбойски быстро вытащил свой веселенький пистолетик и грохнул.

В полупустом вагоне выстрел прозвучал оглушительно. Ленька, упав с потолка, резанул к тамбуру. За ним с криком «Расстреляю, рванина!» резанул Довганя. А уж за

Довганем, на что никак не рассчитывал владелец оружия, но о чем смутно догадывался я, сорвались впавшие было в оцепенение работяги. Сорвались так, что стало ясно — мордобоя не миновать. Число участников этой мчащейся бешеным галопом из хвоста поезда к его голове кавалькады увеличивалось с каждым вагоном, и к середине дистанции за очумевшими от неминуемой расправы Довганем и Вербиным в хорошем спринтерском темпе неслось уже человек семьдесят. Интересно, что большинство участников спонтанного железнодорожного марафона сорвались с мест совершенно бессознательно. Исключительно из-за духа коллективизма.

Лидеры пробега были настигнуты в головном тупиковом вагоне в тот момент, когда они, обреченно раздирая ногтями железную дверь, безуспешно пытались просочиться в кабину машиниста. Думаю, что в этот момент им больше всего захотелось превратиться в прозрачное облачко. Но природа, к сожалению, на помощь не пришла. Работяги, взвинченные преследованием, зажали их в плотное кольцо и принялись методично наносить ощутимые удары в наиболее доступные области, причинив потенциальным звездам советского цирка ряд легких физических увечий, одинаково не щадя при этом ни мнимого нарушителя, ни косоглазого представителя Министерства внутренних дел. Стенания Довганя, что это был всего лишь наивный студенческий розыгрыш, еще больше распалили и без того возбужденных работяг, и физические увечья из разряда легких постепенно переходили в категорию средней тяжести.

Три дня после экзекуции приходили в себя мои жаждущие острых ощущений приятели. Койки их находились рядом, и, как только ощутили они себя в полном сознании, Довгань сразу же наткнулся на далеко не товарищеский холодный вербинский взгляд.

«Дай только выздороветь! — как бы говорил он.— Дай только выздороветь!»

Довгань нервничал и, как утверждают очевидцы, вскрикивал по ночам: «Не виноватая я! Я как лучше хотела!»

Из чего мы можем сделать вывод, что в прошлой жизни Витя Довгань, несомненно, был женщиной.

После этого подвига я стал перечитывать всякого рода героические произведения и неожиданно увлекся биографией генерала Карбышева. Облитая фашистами на жгучем морозе водой обнаженная генеральская фигура, как наваждение, стояла перед глазами.

«А ты смог бы, как генерал! — спрашивал я себя и сам же себе отвечал: — Ни за что».

Но однажды, возвращаясь домой все той же последней электричкой, почувствовал, что все-таки могу еще побороться с собственной слабыхарактерностью.

Шумной ватагой мы высыпали на дремавшую после долгого ненастного дня кунцевскую платформу. Тусклые звезды жужло поблескивали на зимнем небе, а передо мной вновь возник немым укором заиндевший генеральский торс. И снова внутренний голос спросил с педагогической интонацией: «А ты смог бы, как он?»

«Эх, мама, была не была!» — подумалось мне.

Неведомая сила подхватила меня, и я, поддавшись необъяснимому порыву, стремительно приступил к стриптизу, сбрасывая с себя многослойное, соответствующее погоде барахло.

— Лови, пацаны! — прокричал я, разбрасывая в разные стороны все, что было на мне надето, включая толстые шерстяные носки.

— Труссы скинешь? — заботливо спросили коллеги.

Школа циркового училища давала о себе знать — удивить их было практически невозможно.

До общаги оставалось метров пятьсот. Не больше. Термометр показывал минус 25 — не меньше. Раздевшись, я почувствовал неожиданное тепло. Даже не тепло, а жар. Жар дурной смелости. Мои босые ноги подминали под себя мягкий бархатный снег, и сознание собственного бесстрашия расперло мое самолюбие до размеров индюшачьего зоба. Буйная радость переполняла меня — радость, которой хотелось поделиться. Но с кем? Не с моими же непробиваемыми однокашниками, которые, занятые интеллектуальной трепотней, ушли далеко вперед. Зато слева от меня новогодним подарком возник хрупкий силуэт девушки, короткими перебежками направляющейся к дому.

— Здравствуйте, девушка! — сказал я, бесшумно обойдя ее справа и появившись на фоне темного переулка как обнаженная Снегурочка после операции по перемене пола.

Девушка, повстречав в холодной январской ночи весело здоровающегося с ней голого мужика, неправильно отреагировала на мое вполне дружеское приветствие. Вместо того чтобы вежливо откликнуться на пожелание здоровья, она как-то странно всхлипнула, после чего по-медвежьи повалилась на спину и принялась причитать:

— Дура я, дура! Сколько раз говорила себе: не шлейся по ночам, дура ты, худо будет — нет же, вылезла все-таки, дура набитая.

Далее девушка, без малейшего с моей стороны намека, начала резво рассупониваться, сначала скинув с себя сапоги, потом остальную одежду, пока не добралась наконец до нижнего белья, продолжая при этом свою скорбную тираду и называя себя самыми последними словами.

Я, юный, пылкий и стремительный, было приготовился к романтическому слиянию на снежном покрывале, но вовремя почувствовал, что члены начали индеветь.

Извинившись перед полураздетой искательницей ночных приключений за несостоявшееся изнасилование, я помог ей встать и одеться, что она, к моему удивлению, проделала крайне неохотно, после чего бодро продолжала передвижение.

Сознание бесстрашия, а вместе с ним и тепло стремительно покидали меня. Тело постепенно приобрело фиолетовый оттенок и покрылось пупырышками, а уши начали тихонько похрустывать. Холод вонзался в пятки тысячами игл, но, сжав зубы, я коряво ковылял вперед, утешаясь тем, что знаменитый генерал и не то претерпел и что осталось совсем немного.

Как я дошел до общежития, не знаю.

— Выпей, а то очокуришься, — милосердно сказали пацаны, влив в меня чуть ли не самовар горячего душистого чая.

Я понял, что был неправ, — что-то человеческое в них, несомненно, теплилось. Живительная влага тем временем, приятно обжигая, обживалась в сосудах, и я, добравшись наконец до кровати, уснул сладким младенческим сном.

Когда «Городок» только начинался, Витя Сухоруков, спасаясь от безденежья, снимался у нас иногда в скрытой камере. Сегодня его знают все, тогда его не знал никто. После очередной съемки мы вернулись на студию, и Витя говорит Юре Стоянову, с которым учился когда-то:

— А Валерка-то наш квартиру купил! Двухкомнатную. Одна комната четыре метра, вторая три, а вот кухня маленькая.

Почему я это вспомнил? Да потому что, решив перебраться поближе к училищу, я снял такого же размера комнату, приблизительно в такой же двухкомнатной квартире.

Вторая комната принадлежала ЖЭКу, и в ней обрелся некий сантехник по имени Леха. Леха, как и поло-

жено порядочному солидному сантехнику, был законченным алкоголиком. На какие шиши он напивался, мне было неизвестно, зарплата его составляла 75 рублей, из которых 33 процента уходило на алименты. Но, видать, были у Лехи какие-то таинственные закрома, откуда он время от времени вычерпывал средства на выпивку.

В первый же день моего приезда он пришел знакомиться.

— Леха,— сказал он хриплым голосом и протянул мне свою большую и мозолисто-шершавую руку. Вторая рука его прижимала к пиджаку бутылку и большой селедочный хвост. То, что хвост покоился на лацкане, Леху совершенно не смущало, а наоборот, воодушевляло. Ну вроде как медаль или орден.

— Ну и как тебя звать-величать? — спросил он.

— Илюша,— сказал я.

— Ильюшин? — обрадовался он.— Это который авиаконструктор?

Любой человек, хоть раз поглядев на Леху, сразу понял бы, что спорить с ним, мягко говоря, неблагоразумно. Очень он большой был. Я и не спорил, а только беззвучно кивнул головой, мол, да, Леха, авиаконструктор мой папаша.

— Деньгу небось зашибает? Самолеты делать — это тебе не блины печь. Десятку займи. Батя небось помогает, чего тебе десятка! — открывая зубами бутылку, сказал Леха.

— Десятку не дам,— решительно сказал я.

— Чего это? — удивился Леха.— Я же верну!

— Нету!

— Как нету? А батя?

— А батя нас бросил...— Пришлось взять грех на душу и обмазать дегтем ни в чем не повинного авиаконструктора.

— Да ты чего? — еще больше удивился Леха.— Ох подлюка! И кому только не доверяют самолеты строить!

— Вот именно что подлюка! Бросил нас с мамкой, когда я еще маленький был.

— А учишься ты где? — спросил Леха, начиная раздеваться с селедкой.

— В эстрадно-цирковом, на факультете музыкально-эксцентрических жанров.

Возникла тяжелая пауза. Леха отложил разделанную селедку в сторону, посмотрел на меня недобро и сказал:

— Ну и хуй с тобой. Не хочешь — не говори.

Из-за Лехиной любви к селедке вонь в квартире стояла такая, что даже крысы к нам не заглядывали.

— Почему селедка? — спрашивал я Леху.— Почему не колбаса, сыр, не консервы? Да мало ли чем можно закусывать?

— Нельзя! — серьезно отвечал Леха.— Традиция. А традиции надо чтить!

Если одной из традиций Лехи была, как вы уже поняли, закусовая селедка, то другой, не менее важной, являлся еженедельный воскресный секс со своей постоянной любовницей бабой Паней. Бабе Пани было где-то шестьдесят пять, но выглядела она железно на семьдесят три. Каждое воскресенье ровно в 9.15 она входила в дом, трижды целовалась с Лехой, после чего они удалялись на кухню и начинали пить. Пили они до тех пор, пока баба Паня не затягивала свою любимую песню «Ой-д, зачем вы, девочки, красивых любите, непостоялая у них любовь...» Этим она давала понять Лехе, что для секса созрела и можно приступать к увертюре. Что такое увертюра, Леха и слыхом не слыхивал. Он кровожадно хватал бабу Паню в охапку, как паук только что отловленную муху, и, страшно топоча ногами, уносился с ней в комнату. Через секунду раздавался звук шмякающегося на матрас бабы-

Паниного тела, и кровать начинала отвратительно хлюпать, именно хлюпать, как тонущая шлюпка. Потом наступало короткое затишье, которое разрывал жуткий, кошмарный крик бабы Пани:

– Отвали, Леха, счас кончатъ буду!

Минуты две нечеловеческого визга.

Пока таким образом баба Паня входила в оргазматический раж, Леха выходил на кухню, вливал в себя стакан и разъяренно врывался обратно, вопя: «Ты, блядища, кончила, а я как же?» Начиналась страшная битва, в результате которой у бабы Пани под правым глазом появлялся фонарь. Это тоже была традиция. Всегда фонарь и всегда под правым глазом. Баба Паня, на ходу натягивая на себя фуфайку и валенки, бормотала зло: «Чтоб ты сдох, убивец! Ноги моей здесь больше не будет!» — и с треском захлопывала за собой дверь. Но в следующее воскресенье ровно в 9.15 уже раздавался звонок, и она, обнимая Леху за талию, уходила с ним на кухню. И все начиналось сначала. А все любовь проклятая, все она!

А через какое-то время Леха спьяну украл в магазине яйца. Много яиц. И распихал их по карманам. Яйца начали биться друг о дружку и, когда Леха подошел к кассе, из него бурным потоком изливались белочно-желточные массы. Леху посадили. Таким он мне и запомнился: буйным, пьяным, бесшабашным и дурным на всю голову.

ГЛАВА 11,



**В которой рассказывается
о том, как хорошо
иметь в подружках фортуны**

Вообще-то я по жизни везунчик. Правда, везение это зачастую носит странный характер. Фортуна помнит сладким пряничком, я к нему своими ручонками хилыми тянусь вожаделенно, как крестьянин за лампочкой Ильича, и, наконец дотянувшись, с радостным воплем запихиваю его в свой рот и с ужасом обнаруживаю, что пирог-то из дерьма. А есть-то все равно продолжаю. Исключительно по инерции. Это у меня такое специальное везение. Везение бабочки, летящей на огонь свечи и сгорающей в ее пламени.

И знаете, откуда у меня эта авантюрная жилка? От отца. Правда, папе, в отличие от меня, всегда везло.

Удача вообще относилась к нему с приязнью. Она баловала и лелеяла этого двухметрового дядьку и решительно во всем шла ему навстречу. Даже четыре года войны он прошел без единой царапины, не ховаясь при этом ни в окопах, ни в траншеях, ни в штабах. Отец воевал весело, а матери писал с фронта бесшабашные письма на плохом русском языке, так как с хорошим русским языком не был знаком вовсе. И все его письма неизменно заканчивались следующими словами: «Победу уже ни загорамы. Привет з фашистской логовы. Твой муж старший сиржант, пятый Орудийный номер Лева». А когда отгремели победные салюты, отец привез такое количество трофеев, что невольно возникало подозрение: войну развязал не сумасшедший фюрер, а папа, причем развязал ее исключительно в целях разорения Германии и всех ее союзников. Боевые действия уже закончились,

а эшелоны с отцовскими трофеями все шли и шли, мча на всех парах с разных концов земного шарика, добираясь до станции Кишинев и облегченно сбрасывая с плеч уставших платформ нескончаемые ящики и чемоданы с добром.

В хибарке, где кроме папы, мамы, сестры и меня, жили бабушка, дедушка и ряд других дальних и близких родственников, нельзя было шагу ступить, не задев локтем древней японской вазы редкой красоты или не разбив чашечку-другую из бесценной коллекции саксонского фарфора какого-нибудь прусского короля. Бабушка, напуганная таким количеством дорогих раритетов, спала беспокойно. Часто во сне она вдруг начинала громко гогосить:

– Туля! (Так звали моего дедушку.) Воры! Воры, Туля!

– Лови их! – бормотал, не открывая глаз, дедушка.–

Щаз же!

Послевоенное время было тяжелое, жрать было нечего, и потому весь этот антиквариат лихо менялся на картошку, мясо, лук – на любую еду. Но количество вывезенного барахла упорно не хотело уменьшаться. Оно как бы даже увеличивалось по какому-то антиматематическому закону. Семья решительно не знала, что со всем этим делать, и задыхалась в этой, в буквальном смысле слова, непроходимой роскоши.

Помощь пришла неожиданно – со стороны ОБХСС. Сталинская Конституция обязывала всех трудиться. Не перечя Конституции, папа устроился на работу. На комбинат. Но не на какой-нибудь там металлургический или целлюлозно-бумажный. Упаси боже! Он устроился на маленький комбинат, занимавшийся производством и отделкой кожи. Целый день отец беззаветно отдавался любимому делу, а после работы не менее энергично отдавался тому, что в Уголовно-процессуальном кодексе

именовалось не иначе как «хищение гос. имущества в особо крупных размерах».

Да, грешен был папа, грешен. Но воровал он отнюдь не из жадности, а из жалости. При виде варварски разбросанных там и сям шматов, лоскутов и обрезков кожи его сердце просто разрывалось на части. Чувство праведного гнева, можно сказать, просто сотрясало его организм при виде этой вопиющей бесхозяйственности. А посему, закончив трудовой день, папа совершал тайные прогулки по комбинатским закоулкам, обвязывая и опоясывая свое упругое тело километрами бесхозного сырья, и делал это до тех пор, пока не превращался в гигантский кожаный кокон. После столь чудесного превращения из мужика в куколку он напяливал на себя необъятные штаны, такую же безразмерную фуфайку и, с трудом протискиваясь через турникет проходной, застенчиво желал вахтеру счастливого и, главное, бдительного дежурства.

Когда украденной кожей было забито, как минимум, пять сараев, папа оглядел все это богатство и, как бы подытоживая увиденное, сказал: «Ну, можно начинать реализацию», то есть как бы выдал сам себе патент на торговлю.

Надо отдать ему должное — цены он назначал до неприличия низкие. Вскоре весть о добром дяде, отдававшем кожу чуть не задарма, облетела всю республику. К папе потянулись сапожники-кустари. Так после долгой зимы тянутся домой вереницы журавлей, лебедей, гусей и прочей летучей живности. Сапожники пыхтели, купюры шуршали, кожа скрипела. И разлетались в стороны непонятные мне слова типа: «Хром — что надо. Где вы найдете такое шевро? Двести дециметров — больше не могу...» — и, наконец, коронная фраза: «Кто из нас больше рискует — я или вы?»

Папин брат, дядя Абраша, сидя в виноградной беседке, беспокойно почесывал спину и увещевал папу: «Лева, тебя возьмут, Лева. Или я не Абраша, или тебя возьмут, чтоб мне не встать с этого места».

Дядя Абраша оказался вещуном. Папу «взяли». Взяли с поличным у комбинатской проходной. Взяли «тепленького», подхватив с двух сторон под белы ручки и аккуратно внеся в троллейбус. В троллейбусе была давка. Папе стало нехорошо. Да и как может быть хорошо, если с двух сторон тебя нежно обнимают два мента, а ворованная кожа беспокойно обволакивает оголенное тело. «Мине жарко!» — еле выдавил из себя папа. «Ну и хули!» — резонно ответили милиционеры. «Мине жарко и у мене чешется! Я хочу снять телогрейку», — уперся папа. «Да хоть трусы снимай, нам-то что?» — невозмутимо откликнулись менты.

И тогда папа пошел ва-банк. Он как-то змееобразно освободился от влажной кожи, неуловимым движением свернул ее в рулон, затем стремительно запихал ее в телогрейку и, перекинув внезапно образовавшийся сверток рядом стоявшему пассажиру, повелительно рявкнул: «Шоферу! Быстро!» Ничего не успевший понять пассажир, повинувшись приказу, метнул сверток вперед. Чьи-то руки перекидывали его все дальше и дальше, пока злополучный пакет не попал непосредственно к шоферу. А тот, покрывая тихим элегическим матерком и раздолбанную дорогу, и пассажиров, и свое автона начальство, выкинул сверток за окошко, практически даже не успев его заметить.

Сказать, что милиционеры офонарели от дикой отцовской выходки — значит не сказать ничего. К кабинету своего начальника парочка подошла на ватных ногах. Теперь уже отец вел их под руки, а не они его. Ничего не подозревающий начальник отдела был настроен весьма игриво.

— Ну те-с, Лев Нафтулович,— почти ласково спросил он,— а где кожа?

— Нету! — просипели вместо отца внезапно охрипшие охранники.

— То есть как это — нету? — не понял начальник.

— Ну, нету,— снова просипели охранники.— То есть она была... она... сначала-то... А потом... значить... Этот... штаны распустил... и все... Ушла, значить... кожа-то...

— Что значит «ушла»? — как-то по-особому тихо спросил начальник.— Да на нем же этой кожи метров пять было, как минимум! Да вы же его, падлу, за яйца должны были держать восьмью руками, глаз с него, падлы, не спускать!

— Так мы... это... не спускали,— оправдывались охранники,— а он, ну как Кио. Раз — и, как говорится, бздык. То есть, извиняемся, выкинул. В смысле, выбросил. Кто же от его такой прыти ожидал? Толстый вроде, тучный...

Дальнейших объяснений начальник уже не слышал. Мысленно он был уже далеко — на ковре у генерала. И, судя по его побледневшему лицу, генерал говорил ему какие-то неприятные и, может быть, даже грубые и очень нехорошие слова.

Придя в себя после мысленной беседы с генералом, начальник оскорбил площадной бранью переминавшихся с ноги на ногу милиционеров и попробовал позвонить прокурору, чтобы получить ордер на арест. Тот, как назло, уехал на рыбалку. На выходные. В ожидании прокурора папу посадили в КПЗ. Вечером от него пришла трогательная весточка: «Прашу ни валнаваца — я в тюрьме. Внезапна схвачен органами правосудия. Жгите продукт. Уничтожайте мебел. Фсе равно нам уже ни чему этому не достаинеца. Пока ишше ваш Лева».

Ночью над сараями начал пробиваться легкий дымок. Дымок набирал силу, разрастался и вскоре накрыл собой весь город. Воздух приобрел специфический обувной привкус. Это дядя Абраша палил папину кожу.

Спалив все дотла, он рьяно взялся за антикварно-мебельное содержимое квартиры. Все трофейное великолепие разрубалось, разбивалось и разлеталось мелкими брызгами. Через час вспотевший от тяжелой работы дядя Абраша с удовлетворением оглядел учиненный им погром и пробормотал: «Ну тепер, кажеца, действительно всо!»

Утром пришли хмурые люди в шинелях и произвели обыск. Кроме пепла, гари и маминых слез ими ничего обнаружено не было. Отец дал подписку о невыезде и каждый день, как на службу, ходил в прокуратуру, где его, как он говорил, «с пристрастием допытывали». Ложась спать, он приговаривал: «Если они думают, что они что-то узнают, так они сильно хорошо о себе думают». Так продолжалось несколько месяцев.

Наконец был назначен день суда, к которому папа начал тщательно готовиться, — обрил голову, перестав при этом брить лицо, вынул вставную челюсть и перестал есть. Когда он вошел в зал суда — лысый, обросший, худой, без зубов, но с иконостасом заработанных на войне орденов и медалей, — в зале воцарилась мертвая тишина, которую нарушало только мерное позвякивание отцовских наград.

Судья — старый, повидавший много на своем веку страж порядка — невольно привстал. Прокурор опустил глаза. Народные заседатели стали усердно сморкаться в платки. Адвокат произнес упоительную речь, из которой я понял, что папу не сажать — награждать надо! Судья, размазанный адвокатской речью по стенке, дал папе последнее слово, и папа сказал.

Он сказал:

— Граждане судьи! Если я виновен... Если я виновен,— повторил он с некоторым сомнением в голосе,— судите мне беспощадно по всей строгости наших гуманных законов. И пусть я буду сидеть в тюрьме и работать там на благо наша великая отчизна. Если же нет — так нет.

Папе дали год условно. Он пришел домой, побрился, вставил челюсть, поел, выпил бутылку водки, прошелся по разгромленной квартире и сказал:

— Если бы я знал, что все закончится, как закончилось, разве я бы позволил Абрашке так бесчинствовать?



ГЛАВА 12,



**в которой рассказывается,
как я чуть не посадил
собственного дядю**

Когда мне исполнилось шесть лет, отец повез меня в гости, во Львов, к нашему дальнему родственнику по материнской линии дяде Макс. Дядя занимался тем же, чем и папа. То есть расхищал социалистическую собственность. Разница заключалась только в том, что если папа исподтишка тырил кожу, то дядя Макс зычно и громогласно воровал меховые изделия. Можно сказать, что дядя Макс являлся меховым королем Львова. Папа его ревновал, но относился к нему с профессиональным уважением. Как относится, скажем, доцент маленького захудалого городка к профессору МГУ.

То, что дядя Макс — король, чувствовалось во всем. В манере общаться, в одежде, в том, как он держал папироску. А уж квартира... У-у-у! Да что там говорить. Если мы жили в чудовищной халупе с ночным горшком под кроватью, так как уборная находилась с соседнем дворе, метрах в пятидесяти от нас, то дядя Макс, напротив, — в шикарном доме с мраморным подъездом, с тротуаром, вымощенным аккуратной плиткой. Внутри люстры, канделябры, бархат, хрусталь. Ванная с горячей и холодной водой. Итальянский тюль... В общем, куда ни глянь, что ни вещица — плевком папе в лицо. И это, заметьте, в 53 году. Даже я, будучи пацаном, почувствовал разницу, а уж папа...

Дядю Макса я не видел много лет, пока, будучи студентом 3-го курса, не попал с киноэкспедицией в Карпаты. Сначала мы жили в заброшенной деревеньке над рекой Тиссой, и называлась эта деревенька Пилипец.

Евгений Яковлевич Весник сразу же переименовал ее в Пилипоц. Название закрепилось в нашем языке намертво. А через месяц вся группа перебралась в Ужгород. В конце 70-х Ужгород считался почти западным городом. Магазины, кафешки, уютные улочки. Поселили нас в самом центре в гостинице «Верховина». А внизу — ресторанчик.

Каждый вечер, чувствуя себя миллионером, я с трешкой в кармане спускался вниз, заказывал бутылочку сухого, мясо по-карпатски и поедал все это великолепие под аккомпанемент замечательного цыганского ансамбля. Теплый воздух пьянил и без того пьяную голову, а присутствие девушки Лиды Брель, моей командировочной пассии, делало жизнь бесконечно прекрасной.

Вскоре из-за болезни оператора был объявлен недельный перерыв, и я решил смотаться в Кишинев. Самолет улетал из Львова в 23.30. Надо было добираться до Львова. Я поехал на вокзал — поздно. На автобусную станцию — опять опоздал.

«Что ж, — думаю, — встану на дороге и буду голосовать».

Машин было много, благо Ужгород находился на границе трех европейских государств: Румынии, Венгрии и Чехословакии. И так, машин было много, и все преимущественно иностранные. Ну я, естественно, как политически грамотный, на иностранные не смотрю. Только на наши! Как завизжу «Жигули» или «Волгу», ручки вверх и голосую. Но наши машины меня в упор не замечали. Игнорировали, можно сказать. А время-то идет. А ехать-то надо!

«А! — думаю. — Черт с ним. Будь что будет. Кто остановится, на том и поеду».

И уже поднял руку стационарно. Как памятник. Не опускаю. И что вы думаете — не прошло и пять минут, как останавливается «Мерседес». Черный. Блестящий. С за-

падногерманскими номерами. Дверца открывается, я в нее — шась. А там — три немца. Молодые. Симпатичные.

«Ну,— думаю,— вот сейчас-то мой немецкий, который я в школе изучал, и пригодится».

И на чисто западногерманском сразу так, в лоб, без обиняков:

— Гутен таг!

И приосанился. Мол, знай наших.

Они мне тоже:

— Гутен таг!

И я им снова:

— Гутен таг!

И они мне:

— Гутен таг!

И тут я понимаю, что мой школьный немецкий совершенно выветрился из мозгов и, кроме пресловутого «Гутен таг!», я больше ничего вспомнить не могу. Замолчал. Ну едем мы. И молчим уже все вместе. Я, правда, хотел еще разок с ними поздороваться, но потом подумал, что они могут принять это за издевку. Опять молчим. Тут рядом сидящий немец, очевидно, чтобы поддержать разговорчик, переходит на английский и говорит:

— Шнапс, плиз?

— О, иес! — влет отвечаю я ему.

Откуда-то вынимается кофейная чашка и туда заливается водка. Граммов сто пятьдесят. Выпил. И — о чудо! Чувствую, как в мое одурманенное сознание величаво и медленно, как огромный фашистский дирижабль «Цепелин», всплывает напрочь забытый мной немецкий. Причем в каске.

И понеслось! Политические анекдоты, то да се, одним словом, буйное, вперемешку со шнапсом, веселье. Вот так вот, с песнею и танцем, мы подъехали к КПП. Тол-

стый гаишник, лучезарно улыбаясь, останавливает машину и говорит:

— Ваши паспорта, господа!

Дали ему немцы свои. Он их посмотрел и, так же лучезарно улыбаясь, обращается ко мне:

— И ваш паспорт попрошу, хер.

Это он «херр» хотел сказать, а получилось — «хер». В общем, что подумал, то и получилось. Ну и тут я вынимаю из штанов свою красную паспортину. А дальше точь-в-точь как у Маяковского. Как будто ожогом рот скривило господину. Берет, как бомбу... Берет, как ежа...

Короче, этот мент, как мой советский паспорт увидел, у него рожа вытянулась так, что из шарообразной превратилась в нечто, напоминающее стамеску.

И он говорит хриплым голосом:

— Вы, товарищи немцы, аффвидерзейн, а вас, господин, попрошу выйти.

Так охренел, бедняга, что с перепугу перепутал, кто из нас господин, а кто товарищ.

Махнул я немцам на прощание и захожу в будку. А там уже другой мент по рации наяривает:

— Сокол, Сокол, я Чайка. Как слышимость? В немецкой машине, следующей в Гамбург, задержан некто с советским паспортом.

— Почему некто? — нетрезво возмутился я.— Не некто, а Клявер.

— Задержан Клявер с советским паспортом. Не отпустить до выяснения? Понял! Конец связи.

«Ничего себе,— подумал я.— Конец связи? Конец жизни. Не хватало мне за немецкого шпиона проканать и шесть лет на пятнадцать за измену Родине. И это за одну поездку на авто, будь она проклята!»

Через час прикатил мотоцикл с коляской и автоматчиком. Автоматчик мне не понравился.

— В люльку! — грозно приказал он.— Быстро!

Ну я, как мог, влез и витиеватым от шнапса голосом говорю:

— А я, товарищ сержант, между прочим, на самолет опаздываю. Я уже полчаса назад должен был в него сесть.

— Ничего! — успокоил автоматчик.— Сейчас на Дзержинского, 2 привезем, там и сядешь.

Приезжаем на эту самую Дзержинского, 2. Вываливают меня из люльки, я голову вскинул, глядь, а там наверху табличка в рамке. А на табличке написано:

КГБ
г. Львова
Украинская ССР

Я как табличку прочел, вмиг протрезвел.

— За что, ребята? Я же свой!

— Сейчас увидим, какой ты свой.

Подняли меня на четвертый этаж, а там коридор длинный такой и лампочка в конце тусклая. И скамейка. Паспорт забрали, на скамейку посадили и сказали: жди!

Ну я жду. Полчаса жду. Час, полтора жду. Наконец дверь открывается, мне говорят:

— Заходите.

Вхожу. Вытянутая пеналом комната. Стол. На столе лампа с абажуром. За столом полковник с уставшим и благородным лицом мясника.

— Курите? — спросил он, подталкивая ко мне пачку сигарет.

— Спасибо, не курю,— говорю и вынимаю сигарету из своей пачки. Ну нервничаю же. Не соображаю ничего.

— Значит, по документам вы у нас в Москве учитесь, так?

— Почему по документам? Я там так учусь!

— Без документов, что ли? — вскинулся полковник.

— Нет. По документам. Я в том смысле, что я не как бы там учусь, а по-настоящему.

— Ага-ага! — хитро закивал полковник.— Учитесь, значит?

— Учусь.

— Ага-ага! В цирковом, значит?

— Ну да.

— Ага-ага!

И вдруг как заорет резко:

— А ну раскалывайся, сучий потрох, как в немецком «мерсучке» оказался! Раскалывайся, пала! Иначе хуже будет.

Тут я окончательно протрезвел.

— Ну как? Ну в кино здесь снимаюсь. Точнее, там. Сначала в Пилипоце, а потом в Ужгороде. То есть в Пилипце. А вчера оператор заболел. Неделя свободная. И я решил домой поехать. На поезд-автобус опоздал. Решил на попутке. Голосую-голосую, а наши, как назло, не останавливаются.

— А немец, значит, остановился, так, что ли? Наши советские люди проезжали мимо, а фрицы, значит, тормознули? Говори, падла! — опять вдруг заорал он.

Тут я залопотал как зарезанный:

— Бес попутал! Лукавый! А иначе бы нипочем бы к этой немчуре проклятой не сел бы! Вот те крест, батюшка!

И натурально перекрестился.

И то ли от этого перекреста, то ли от того, что устал он, то ли от того, что с самого начала понимал, что все это чушь собачья, только отдал он мне мой паспорт и сказал тихо:

— Ладно, езжай куда собрался.

— А куда же я поеду? — обиделся я.— На самолет я опоздал. Следующий только ночью улетает. Завтра.

— А остановиться негде?

— Нет!

И тут я вспомнил про дядю Макса.

— Есть! — говорю.— Только я не знаю, где он живет.

— Ну,— ухмыльнулся он,— это как раз у нас не проблема. Полное имя знаешь?

Я напрягся и вспомнил.

— Блувбанд. Макс. Израилевич.

— Как-как? — переспросил он.

— Блувбанд. Макс. Израилевич. Блувбанд.

— Блувбанд,— удивился он.— И как только можно жить с такой фамилией? М-да! Ну ладно.

Позвонил куда-то и через минуту принесли ему бумажку.

— Вот! Бери! — сказал он.— Тут все. И адрес, и телефон. Позвони.

Я посмотрел на часы. Было два часа.

«А,— думаю,— была не была».

Набираю номер. Долгие гудки. Наконец, крик — сняли.

— Шо вам надо в такую позднь? — слышу я знакомый голос.

— Дядя Макс,— закричал я в трубку,— это Илья! Ваш родственник по материнской линии. Я к вам четырнадцать лет назад приезжал. Можно, я у вас сегодня переночую?

— А где ты?

— Я?

Я посмотрел на полковника. Тот замахал руками.

— Я это... на танцах...

— На танцах в два часа ночи,— удивился дядя Макс.— А где ты их нашел?

— Да тут недалеко. Вы не волнуйтесь, я сейчас приеду!
У меня друг пианист, он меня подбросит.

И положил трубку.

— Ну и как мне добираться? — удрученно спросил я у полковника.

— А на люльке! — улыбнулся он. — На люльке и увезут.

Выпроводили меня на улицу, а там тот же мотоцикл с коляской и, главное, тот же автоматчик.

— Может, уберешь пушку? — спросил я.

— Низя! — важно ответил он. — Служба.

И вот привозят меня к уже знакомому дому. Те же мраморные колонны, тот же мощный тротуар, и так вдруг щемяще запахло детством, как будто я вернулся в 53-й год. А автоматчик-то не уходит.

— Чего стоишь? — снова спросил я. — Дальше я сам.

— Низя! — говорит. — Служба. Должен доставить до адреса.

— Ну пошли! — говорю.

Поднимаемся на третий этаж. Звоним. Дядя Макс открывает, и что он видит? Усатого автоматчика и какого-то мужчину в плаще болонья. Очевидно, в этот момент вспомнил он про меховое прошлое, которое трансформировалось в его подкорке в клетчатое будущее. Дядя Макс впал в анабиоз и покрылся потом.

— Это кто, пианист? — пробормотал он чуть слышно.

— Что это с дядей? — удивился автоматчик.

— Это, наверное, от радости! — сказал я. — Не виделись давно. Вот он так и среагировал.

— А! — сказал автоматчик. — Ну бывает!

Дверь захлопнулась, а дядя Макс медленно осел на пол, держась за сердце.

— Дай валидол, щенок! — прохрипел он. — Вот он, на тумбочке.

Тут в прихожую вошла разбуженная шумом жена дяди Макса тетя Софа. Вошла, и ее глазам предстала замечательная по своему оптимизму картина.

Брюнет в бóлонье с валидолом в руке и полуживой супруг, уютно примостившийся под тумбочкой.

Ну правда, очень миленькая картинка. Вроде «Иван Грозный убивает своего сына», только наоборот.



ГЛАВА 13,



**В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ О ТОМ,
КАК ИНОГДА ТРУДНО
УТИХОМИРИТЬ СВОЮ СОВЕСТЬ**

Нравственность — категория высокая. Я примеряю одежду нравственности на мое брненное тело, и мне нравится, как она на мне сидит. Но случаются иногда в жизни казусы, которые окунают твою высоконравственную натуру в такие помои, что отмываешься по окончании погружения в них ой как долго. Столь длительное вступление в данной главе я, как вы уже, наверное, догадались, затеял неспроста. Со мной, выражаясь высоким стилем, случилась та же фигня. А заключалась эта самая фигня в следующем.

Когда до окончания училища оставалось всего полгода, стало ясно — без Москвы я уже не смогу. Стало ясно, что я хочу Москву, как женщину. Что я ее вождедею. Что я готов задушить ее в своих объятиях. Но как? Для того чтобы ее задушить и сделать безвозвратно своей, нужна московская прописка. Слово-то какое гнусное — про-ПИСКА. Твердое, как каменюка.

Вариантов получения этой желанной (будь она трижды проклята) прописки было немного. Собственно говоря, всего два. Вариант первый — совершить какой-нибудь героический поступок, например полететь в космос или задержать американского шпиона. Его я отмел сразу как неприлично доступный.

Оставался вариант второй. Он же последний — женитьба! Вот это задача так задача! Вот это я понимаю! Найти в течение 160 дней женщину, влюбиться в нее (это реально), влюбить ее в себя (это нереально), жениться на ней (совсем нереально), засадить в паспорт

эту самую прописку (абсолютно нереально) и поселиться на жилплощади законной супруги, что окончательно, решительно и безоговорочно нереально. Но мы не привыкли отступать. И чем недоступнее цель, тем она желаннее.

Цирковые девочки погрузились в свои телефонные кондуиты, выбирая подходящих для решения этой непростой задачи подруг, и в результате выдали мне на-гора́ такое количество невест, что с лихвой бы хватило на два небольших борделя. Долго я блуждал по этой телефонной чаще и наконец остановился на чудесном имени — Наташа. Я позвонил. Она сняла трубку. Мы поболтали минут пятнадцать и договорились встретиться на следующий день.

Наташа оказалась белокурой, розовощекой и очень хорошенькой. Влюбился я сразу. А когда узнал, что ее отец занимает руководящее кресло в одном из министерств, а мама — партийный работник, страсть во мне запылала с удвоенной силой. Я принялся настойчиво охмурять девушку всеми доступными мне способами. Приходя в дом, приносил свежеумершие цветы, играл с самой Наташей в четыре руки на роялях и вел непродолжительные интеллектуальные беседы с ее родителями, поскольку на продолжительные моего интеллекта катастрофически не хватало. Наконец Наташа пала, что было вполне естественно после столь долгой и скрупулезно продуманной осады.

С родителями же ситуация осложнялась все больше и больше. Если перевести ее на язык военных сводок, то она звучала бы так. «После упорных и продолжительных боев наши войска оставили город Бобруйск». Я терял города с каждым моим новым приходом. При виде меня папа́ уходил в спальню, а маман складывала губки бритовкой и демонстративно клацала перламутровыми

пальчиками в бриллиантах по полированной поверхности стола. И тогда я сказал себе: «Хватит! Ни шагу назад! Ни одной пяди врагу: будем брать цитадель наскоком».

Придя в очередной раз в незваные гости, я отбросил вместе с роялем интеллигентскую деликатность, шлепнулся в кресло и голосом Высоцкого из фильма «Место встречи изменить нельзя» заявил обезумевшей от этого демарша маман:

— Значица, так! Хотите вы или не хотите, уважаемые, а мы с Натальей завтра идем в загс. Вот так-то. Без-вариантно!

«Безвариантно» я произнес чуть напыщеннее, чем хотелось бы, и еще подкрепил эту самую напыщенность восклицательным знаком, коий жирно вывел в воздухе наглой левой рукой.

— Чаво-чаво? — как-то совсем не по-партийному заверещала партийная мать.— Я не по́нила, что ты сказал? Какой загс? Забудь это слово, альфонс! А это не хошь?

И в ответ на мою наглую левую руку она выкинула свою яростную правую и показала мне этой рукой такое... Такое она мне показала... В общем, не скажу я, что она мне показала. Скажу только, что такого большого я даже в Кунсткамере не видел.

Выпроводили меня, и последнее, что я услышал из-за дверей...

— И чтобы ноги этого клоуна здесь не было.

Вот так было растоптано мое робкое только-только зарождающееся чувство. С поисками брака по любви было покончено раз и навсегда. К делу надо было отнестись прагматично, а для того чтобы прагматичность не шла вразрез с моральными принципами, надо было для воплощения идеи в жизнь найти такую же прагматичную леди. И я нашел. Звали ее Эллочка, и похожа она

была на мышку. И несмотря на крохотный росток, так могла за жопу укусить, что мало бы не показалось никому. Деловая была девушка. Цепкая и деловая. Она мне сразу заявила:

— Тебе нужна прописка, а мне — свобода и двухкомнатная квартира. На квартиру не рассчитывай. Только на прописку. Понял?

— Понял-понял! — пробормотал я, озадаченный напором и силой этого серого антипода кошки.

— Но для родителей — никакого фиктива. Для родителей мы натуралы. Муж и жена. Если почуют подвох — извини-подвинься. Ни тебе прописки, ни мне квартиры... Поехали знакомиться.

И, схватив меня в охапку, сначала выкинула за дверь, потом на улицу, затем вкинула в такси, соответственно по приезде — выкинула из него и наконец уже окончательно вкинула меня в двери отчего дома.

Родители очаровательные, милые люди. Скромные труженики науки. Даже как-то неудобно было их обманывать, но... Такая уж, видно, моя планида. Уж слишком высока была ставка. На кону стояла ее величество московская прописка. И мы начали изображать всякими доступными средствами влюбленную парочку. Омерзительно сюсюкающую влюбленную парочку. Вскоре мы добились такого автоматизма, какого не встретишь и в синхронном плавании.

— Элюсик, любовь моя, если не трудно, передай мне, пожалуйста, соль и винегретик.

И чмок в щечку.

— Илюсик, родненька, а может быть, оливье?

И тоже — чмок!

— Нет, Элюсенька, винегретик.

И опять — чмок в щечку.

— А мне, милый, водочки!

И снова чмок в щечку, чмок в щечку, чмок в щечку. Тьфу! Вспоминать противно. Вообще, все складывалось настолько хорошо, что в душу начали вползать мрачные предчувствия. Предчувствия меня не обманули.

Беда, товарищи, пришла, как в плохом романе.

Неожиданно и гомосексуально. То есть сзади. Удар пришел со стороны моего родового гнезда, сиречь — циркового училища. Дело в том, что у Эллы был брат. У брата был друг. У друга была девушка. А у девушки была мама, которая у нас преподавала (это ж надо, как мне повезло) сценическую речь. И когда Элла сообщила брату о грядущей свадьбе с будущим артистом Клявером, то есть со мной, брат рассказал об этом другу, тот исповедался перед девушкой, девушка — своей маме — педагогу по сценической речи, а та, всплеснув руками, как залопочет:

— Как за Клявера? За этого подонка отдать нашу Эллочку? Да девочка слеза как чиста. То есть чиста как слеза. К Кляверу?! Да уж лучше волку в пасть, чем к этому развратнику (это они все про меня. И чем я ей не угодил? Вроде учился неплохо). Да все знают, что этому мерзавцу прописка нужна. Штмп ему нужен. В паспорт. А как получит этот штмп, и Эллочку бросит, и квартиру заберет, и всю их семью по миру пустит. Он такой!

Ну девушка друга все это выслушала с почтением и, как водится, понесла эту радостную весть непосредственно другу, друг — брату, а уж за братом не заржавело. Он, братик, все это преподнес родителям в таком свете, что они заперли Эллочку намертво и поменяли в квартире все замки. Вот так Элла вместо вожденной свадьбы попала под домашний арест. А я вместо прописки — то, что мне показала мама Наташи. Печально, не правда ли?

Я, как говорят в таких случаях в Кишиневе, был на грани от чайника. Два Ватерлоо в течение трех месяцев —

это круто! Я так застрессовал, что вынужден был купить и выпить бутылку водки,— доза для меня непозволительно большая. Наутро я проснулся с больной головой, но здоровой душой. В запасе было еще два месяца. Я вдохнул полной грудью и пошел по следу, как обученная борзая.

И я нашел свою принцессу. На Плющихе. Красотой она, правда, не блистала. Не блистала она красотой. Уж чего не было так не было. Признаю. Страшнее нее, пожалуй, только морской окунь в период нереста. Личико рябенькое, ножульки тоню-ю-юсенькие, над кроличьим ротиком нависают усики. Ну, не красавица, в общем. Но с другой стороны — не щи же мне с ней хлебать. Или, не приведи Господь, в одной постели кувыркаться. Тут уж не до грибов, как говорится. Да, не красавица! Но зато, что крайне отраднo,— сирота. Родителей нет. Помешать, стало быть, некому. И мы расписались. Свершилось!!! Раз в месяц я высылал ей почтовым переводом 40 р. и был счастлив, как даун. И главное, все по-честному. Я ей деньги, она — прописку. Все гламурненько, уютненько и никаких претензий. И что же?..

Опять грянула беда, и опять откуда не ждали. Звонит моя суженая и говорит таким загадочным голосом:

— Илья-а, а я беременна!

Меня как табуреткой по темечку. Первая мысль — от кого: нормальный дееспособный мужчина на такую полезет только по приговору трибунала. Но кто-то же полез?! Видимо, от отчаяния. Эта мысль не давала мне покоя.

— А от кого забеременела, если не секрет? — нервно спросил я.

— Как это — от кого? — пропела ненаглядная.— От мужа своего! Законного мужа!

Мне плохо стало.

— От какого мужа, корова? — прошептал я не по-джентльменски.— Я же тебя всего два раза видел. Когда догово-

ривались и на свадьбе. Что я тебя, по почте, что ли, трахнул? Или, может, по телефону?

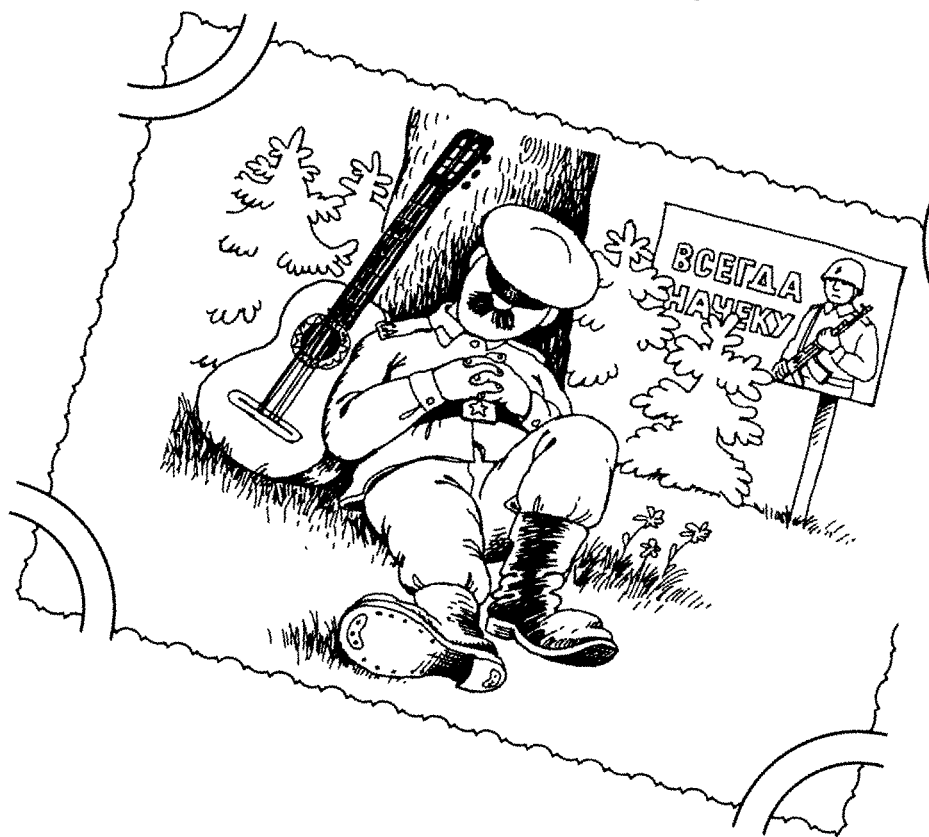
– Не знаю, не знаю, – урчала красная девица. – Только от алиментов ты теперь не уйдешь.

Что вам сказать, господа? Бросил я трубку, примчался на Плющиху к своей принцессе, прихватил ее за кадычок и прошипел натужно: «Задушу, гадина! Задушу!»

Очевидно, я так задушевно это прошипел, что нас развели уже через неделю. А тут как раз и армия подоспела. А в армии, как известно, прописка не нужна.



ГЛАВА 14,



**в которой говорится,
как я насильно пошел
Родину защищать**

Есть мнение, что нет в нашей стране гражданина, который не посчитал бы честью для себя послужить на благо Отечеству, то есть потянуть солдатскую ляжку. Я составлял печальное исключение. Я был уверен, что мое служение Отечеству вряд ли принесет пользу как Отечеству, так и мне. Отечество же так не считало. У Отечества было свое, особое мнение по этому поводу. И потому, получив призывную повестку, я не стал спорить с Отечеством. Я просто позвонил домой.

— Мама! — сказал я. — Завтра я уйду в армию.

— Что значит «уйду в армию»? — не поняла мама. — У тебя что ж, других дел нет? Что за глупости такие?!

— Мама, — сказал я, — я уйду не потому, что я так хочу. Есть закон. У нас в Конституции записано, что каждый гражданин должен отдать родине священный долг.

— Какой долг, что за долг, что ты мне голову морочишь? — не унималась мама. — Еще неизвестно, кто кому должен. Насколько я знаю, ты у нее ничего не занимал. По моим подсчетам, так это она тебе еще должна...

Вообще, моя мама была большой хохмачкой. Как-то приехала она к нам в гости. К тому времени мы уже давно жили в Ленинграде. Нам захотелось удивить ее, и мы повезли маму в Петродворец. Фонтаны, каскады, статуи, бронза, «Монплеизир» — что там говорить: цари знали, что такое загородная дача.

— Ну как, мама? Нравится? — спросил я ее слегка покровительственно, словно всю эту роскошь сотворил только что лично.

— Сыночка, — тревожно сказала мать, — где здесь туалет?

— Какой туалет? Ты посмотри, куда мы тебя привезли. Ты этого нигде больше не увидишь.

— Где туалет, сыночка? — чуть нервознее спросила мама, и я понял, что она находится в критическом состоянии.

С большим трудом в самом конце огромного парка мы наконец нашли полуразвороченное каменное строение, из которого доносился, врать не буду, неприятный, переходящий в неприличный, запах. Это были парковые туалеты для мелкой челяди: конюхов там, дворни. Цари их явно не посещали, но мама влетела туда истребителем. Зато выпорхнула оттуда легкокрылой бабочкой. Осмотрелась вокруг и сказала:

— Боже, какая здесь красота!

Словом, хотела мама или не хотела, осенью семидесятого врачевная комиссия при военкомате поставила мне страшный, а главное, неожиданный диагноз: годен к строевой. Как всякое разумное существо, я понимал, что армия есть важнейший государственный инструмент, но не понимал при этом другого — при чем здесь я?

Мысленно взглядываясь в будущее, я не видел себя отважным бойцом, стоявшим в обнимку с артиллерийской пушкой.

Тем не менее пришлось смириться. Я устроил себе пышные проводы. Вереница родственников и знакомых тянулась нескончаемым ручейком до самого рассвета. Для того чтобы облегчить доступ, тело мое демократично валялось в коридоре, и каждый из них мог беспрепятственно поплакать над ним и попрощаться.

На следующий день я перешел через дорогу в армию. Именно перешел, так как в те времена я снимал комнату в Лефортово. Аккурат напротив Дома офицеров, в кото-

ром базировался ансамбль Московского военного округа, куда я и был призван. После отбоя я, не мешкая, отправлялся домой, где предавался отдохновению и медленно приходил в себя после армейского дня. Меня подташнивало от военных маршей, песен, плясок и обилия погон. Хотелось окунуться в атмосферу комфортности, уюта, благозвучий и ласковых женских рук. Я переодевался в чистое белье (как отважный матрос перед гибелью корабля), зажигал свечи и предавался с приглашенной леди умеренному разврату, запивая его легким вином под музыку Баха.

Это была самая беззаботная полоса в моей армейской жизни. Но, как известно, нет такого начала, у которого не было бы конца. Конец, как ему и положено, наступил внезапно. Ранним утром, пережевывая в памяти прелестные детали проведенной ночи, с блуждающе-похотливой улыбкой на устах я открывал дверь уже ставшего родным Дома офицеров. Как вдруг... О, это такое знакомое русскому человеку «как вдруг», не несущее для него ничего хорошего, кроме плохого.

...как вдруг жесткий голос вторгся в мои блаженные воспоминания:

— Товарищ солдат, почему у вас хлястик на шинели расстегнут?

«Патруль», — пронеслось в голове.

— Простите, — заискивающе сказал я молодому лейтенанту, — сейчас застегну.

— Ну-ка подойдите ко мне, товарищ солдат.

Что ему во мне не понравилось — ума не приложу.

— Дыхните.

Я дыхнул. На лейтенанта пахло «Совиньоном», духами и баховским клавесином. Растленный запах смутил лейтенанта.

— Вашу увольнительную, — потребовал он.

Это прозвучало как приговор, не подлежащий обжалованию. Зная, что мне просто надо перебежать через дорогу, я не только никогда не брал увольнительную, но даже не представлял, как она выглядит.

Вечером я уже топтался в полутемной комнатке строевой части мотострелкового полка одной очень Кантемировской дивизии.

— Да-а! — сказал мне небритый капитан, глядя на лицо которого сразу становилось понятно, что это и есть тот самый капитан, который никогда не станет майором.— Лучше бы ты, парень, в тюрьму попал.

После такого теплого напутствия я понял, что ружье удачи дало осечку. Надо было как-то выкарабкаться. В первую же армейскую ночь мой взвод был поднят по тревоге в три часа ночи для разгрузки щебенки. Промозглый ноябрьский ветер наотмашь хлестал по небритым щекам, мелкий снег вонзался в беззащитную шею, сапоги жадно заглатывали мокрую пыль, и думалось мне, что все кончено и все, что было, неправда, а правда — эта грязная ночь, полуразрушенный вагон и сержант Лимазов, довольно похохатывающий, глядя на задроченные лица новоиспеченных гвардейцев.

— Кайфуешь, молодой? — хмыкал он.

Я посмотрел на часы. Было уже шесть.

По плацу ротами, взводами и отделениями теней отца Гамлета маршировали запуганные до смерти новобранцы.

— Солдатушки — бравы ребятушки,— пели они, вздрагивая от каждого ефрейторского окрика, а уж при встрече с офицером от страха и вовсе были готовы описаться. Смотреть на них было страшно.

«Мы не ра-бы! — вспомнил я.— Рабыни мы!»

Ко мне подошел старшина Гусейнов и с узбекским акцентом спросил:

— Артысть?

— Артист.

— Я тибье и ф тюальетэ запашю,— прочирикал он с ухмылкой.

— Баллон ты штопаный! — аж покраснев от благородного негодования, вскипел я.— Мы еще посмотрим, кто кого запашет!

Той же ночью я собрал в каптерке весь наличный сержантский состав (памятуя о Гусейнове, подбирались исключительно командиры со славянским типом лица) и дал им силами меня большой праздничный концерт. С тех пор Гусейнов обращался ко мне только на «вы». И по имени-отчеству. Можете такое представить?

Два месяца моего дальнейшего нахождения в роте сопровождались абсолютным и откровенным бездельничаньем. По ночам я продолжал успешно давать праздничные концерты в каптерке, а днем слонялся по территории, совершенно не зная, чем себя занять. Никогда до этого мое ничегонеделание не было таким объемным. Оно стало носить столь вызывающий характер, что сержанты начали испытывать некоторую неловкость за своего подопечного.

— Старик,— сказали они мне по завершении очередного праздничного концерта в каптерке,— ты бы автомат для виду разобрал, а то перед салабонами невдобняк.

«Салабонами» в дивизии называли молодых солдат.

— А кто его обратно соберет? — вежливо поинтересовался я.

— Мы и соберем.

— Нет, пацаны, не надо. Ухожу я от вас. В полковой оркестр.

В моем голосе сквозила постылость. Так могла бы разговаривать только жена, уходящая от надоевшего и старого мужа к горячему юному кобелю.

Дело в том, что дирижер полкового оркестра майор Чумаков делал неоднократные попытки переманить ме-

ня к себе. Я бы и сам перешел, но смущало одно обстоятельство — мое полное неумение играть на каком-либо инструменте. Однако Чумакова это обстоятельство ничуть не озадачивало.

— Ничего,— уговаривал он,— научим. У меня тубист на пенсию уходит. Ты его и заменишь.

— Да как же я его заменю, если я играть не умею?

— Так он тебя и играть научит.

— Альберт Иванович, я, хоть убейте, не понимаю: зачем вам это надо? Мне к вам понятно зачем — у вас служба халаянная. Но вам-то это на кой?

— Видишь ли, Илья,— застеснялся Чумаков,— есть у меня мечтинка (он так и сказал: мечтинка) создать военно-эстрадный оркестр, взять хорошего ведущего... Ты ведь артист вроде...

— Вроде артист.

— Вот я и говорю — взять хорошего ведущего, сделать патриотическую программочку и поехать, понимаешь, по частям. Шухер наводит. Глядишь — и до командующего докатится, что есть такой майор Чумаков. Справишься?

Хотелось майору славы. Ох как хотелось!

— А как же, товарищ майор. Завсегда!

Сержанты тяжело переживали мой уход. Они настолько привыкли к ежедневным ночным шоу в каптерке, что уже не представляли себе, как скоротают оставшийся до дембеля срок без этого зрелища.

— Эх! — вздыхали они на банкете в ленинской комнате, посвященном моему переходу в оркестр, и разливали тепловатый одеколон по литровым солдатским кружкам.

Скажу честно, в оркестровой казарме я чувствовал себя значительно уютнее, чем в полковой. Военная форма уже не так смущала, а когда я достал офицерскую шинель (знакомый старшина выкрал за четвертинку), то даже ощутил некоторую комфортность. Хотите — верьте, хоти-

те — нет, но, будучи ефрейтором, я носил офицерскую шинель. Правда, через год шинель с меня сняли, причем вместе с лычками, но это же через год... А пока я блистал двумя рядами золотых пуговиц и новыми, приятно поскрипывающими хромовыми сапожками. Но рассказ мой вовсе не о хромовых сапожках и шинелях с золотыми пуговицами. Рассказ мой об идиотах.

Конечно, идиотов и на гражданке хватает. Но в армии они как-то особенно заметны. Черт его знает почему! Среда там, что ли, такая?

Но факт остается фактом: идиоты в армии размножаются, как микробы в бульоне. Я знал многих нормальных мужиков, которые, попав в армию, превращались в полных недоумков, причем, что характерно, демобилизовавшись, тут же становились совершенно нормальными.

Нет, вы поймите меня правильно. Я вовсе не утверждаю, что армия — это некий инкубатор, созданный специально для выращивания дегенератов. Во все нет. Просто так получается. Хотя встречаются иногда и светлые головы. И достаточно часто. Однако, повторяю, рассказ мой не о светлых офицерских головах, а, наоборот, об идиотах. С одним из них, майором Чумаковым, моим непосредственным начальником и дирижером (благо, мне удалось перевестись из роты в оркестр), я имел счастье общаться целых тринадцать месяцев. Чумаков был как раз из той породы людей, которые поначалу абсолютно нормальны и, только попав в душные армейские объятия, трансформируются в дебилов. При этом он не слыл ни жестоким, ни злопамятным, ни мстительным, ни коварным. Нет. Просто за ним прочно закрепилась репутация идиота, и он достойно подтверждал эту репутацию каждый день. Послав на меня запрос в батальонную канцелярию, он написал: «Прошу зачислить такого-то в полковой оркестр в/ч № такой-то в качестве ефрейтора-кон-

ферансье. Майор Чумаков». А второй идиот, сидевший в канцелярии, оформил этот идиотизм уже документально, сделав в моем военном билете воистину историческую запись: «воинская специальность — ефрейторконферансье». Одним словом написал, обратите внимание.

Сижу я как-то на лавочке близ казармы, курю себе потихонечку, никого не трогаю и вдруг...

Что такое? Никак Савельев! Валера!

На гражданке он слыл ходок по бабью и, очевидно, для того чтобы поддержать нелегкое свое реноме, а может, просто чтобы не терять практики, поступил в медицинститут, на отделение гинекологии. В той прошлой жизни он выглядел пижоном. Однако то, что я увидел, с пижоном не имело ничего общего. Передо мной полулежало жалкое, забитое создание.

— Савельев, ты, что ли? — не поверил я.

Он кивнул, осмотрел себя с ног до головы и, дав мне вдоволь насладиться увиденным, укоризненно произнес:

— Видишь, какой я стал? — как будто его призвали в войска исключительно по моей личной инициативе.

— Но ты же учился в институте?.. — удивился я. — У вас же военная кафедра!

— Какая кафедра, о чем ты говоришь? За аморалку загребли, — махнул рукой Валера.

Честно говоря, глядя на Савельева, трудно было представить себе женщину, добровольно согласившуюся разделить с ним ложе. Даже обладая очень сильным воображением.

— Я себе пальцы отрублю, — вдруг занудил он, — топор я уже приготовил, да вот решиться пока не могу. Все равно отрублю. Или повешусь.

Савельевская дилемма — отрубить пальцы или повеситься — вовсе не вдохновляла. К тому же я почувствовал прилив человеколюбия, и мне захотелось ему помочь.

— Валера,— осторожно спросил я,— ты ведь играешь на гитаре?

— Ну, что значит играю,— скорбел Валера,— так, бздынь-бздынь. Три аккорда — и капут.

— Неважно. Но бздынь-бздынь можешь?

— Бздынь-бздынь могу,— все еще не догадываясь, куда я клоню, сказал Валера.

— А если надо будет, сможешь гитару привезти?

— Ну дык,— ответил Савельев.

Я посмотрел на часы. Чумаков еще в оркестре. Но может уйти.

— Ладно,— сказал я, вставая,— завтра здесь же в это время, усек?

— А как же с пальцами? — снова занудил Валера.— Топор-то уже заготовлен. Или повременить пока?

Но я уже был относительно далеко и решил не отвечать.

Чумакова я нашел в оркестровом классе. Он сидел у фортепьяно и страстно набрасывал ноты сочиняемого им марша. На стене напротив висел портрет Буденного, восседающего на лошади, и, когда у майора возникала творческая заминка, он обращался взглядом к портрету, видимо черпая свое вдохновение из огромных маршальских усов, а может, и из лошадиной морды. Потрясенный величественной картиной созидания, я несколько минут почтительно молчал, а потом благоговейно, чтобы не нарушить торжественности тишины, спросил:

— Товарищ майор, а Шаров когда увольняется в запас?

— Через неделю,— ответил Чумаков, несколько недовольный тем, что я оторвал его от музыки.— А в чем дело, ебть?

— Да вот случайно знакомого встретил. Он на гражданке на танцах играл.

— А на чем играл?

— Ну, я же говорю — на танцах!

— Да я понимаю, что на танцах. А на чем конкретно играл, ебть?

— А-а! Вот на гитаре как раз и играл.

— На гитаре, говоришь? — заинтересовался мой начальничек. — Это хорошо, что на гитаре. Гитаристы нам очень нужны, их хронически не хватает. Тем более что и Шаров уходит, ебть.

— Ну так и я про то же, товарищ майор, — подтвердил я. — Шарова-то не будет скоро. А гитаристы, сами говорите, нужны.

— А где он служит, твой корешок? — спросил Чумаков.

— В танковом батальоне.

Через неделю Савельев был переведен в оркестр.

— Так! — сказал майор, прошупывая Савельева глазами. — Так-так-так! Ну, давай, рядовой, сыграй.

— На чем? — тупо спросил Валера, помаргивая глазками.

— Как «на чем»? — удивился Чумаков. — Ты же у нас гитарист, ебть.

— Гитарист, гитарист, — горячо подтвердил я, так как Валера, оказавшись в непривычной для себя обстановке, временно лишился дара речи.

Убедившись, что от Савельева он ничего не добьется, майор стал обращаться к нему через меня.

— Скажи ему, чтобы он сыграл, — попросил он.

— Товарищ майор просят сыграть, — перевел я упорно продолжающему молчать Савельеву.

Тот в ответ засопел. Прошло минуты две.

— Ну, и чего он молчит? — нахмурился Чумаков. — Он что, немой, ебть?

— Он молчит, потому что у него гитары нету, — объяснил я. — Когда призывали, не додумался взять ее с собой. Решил, наверное, зачем в танке гитара?

— А как же я его прослушаю без гитары, ебть? — задал вполне разумный вопрос Чумаков.

Очевидно, в это мгновение идиот из него вышел. Но тут же вернулся обратно.

— Без гитары, конечно, как же прослушаешь? — согласился я.— Без гитары никак не прослушаешь.

Савельев перестал моргать и, уставившись в потолок, бессмысленно ухмыльнулся.

Майор начал нервничать.

— Ну что, Савельев, так и будем через третье лицо общаться? — раздраженно спросил он.

— Зачем через третье лицо? — неожиданно оживился Савельев.— Я и сам могу.

— А раз можешь,— еще больше раздражался Чумаков,— ответь мне на тонкий вопрос: «На хера мне гитарист без гитары, ебть?»

Но Савельев снова заткнулся.

— Товарищ майор,— решил я взять инициативу в свои руки,— гитара у него дома. Точнее, не у него, а у его приятеля. Он ее продал. Я думаю, его надо отпустить. Он денег раздобудет и перекупит гитару обратно.

— Ну, и сколько тебе понадобится времени? — обратился Чумаков к переминающемуся с ноги на ногу Савельеву.

А тот словно воды в рот набрал. Молчит и все.

— Я думаю, дня три,— бойко ответил за него я.— Пока денег раздобудет, то да се... Дня три, не меньше.

Майору позарез нужен был гитарист. И, махнув рукой, он выписал увольнительную на трое суток.

Потрясенный Савельев собрался в поездку.

— Без гитары не возвращайся,— напутствовал его я.

— Гитару-то я достану,— возбужденно шептал Валера,— а дальше что?

Через три дня посвежевший и отдохнувший Савельев вернулся из свалившегося с неба отпуска. Гитара была при нем. Электрическая, прошу заметить.

Прекрасно отдавая себе отчет, что на первой же репетиции обман будет раскрыт, мы стали разрабатывать план дальнейших действий.

На следующее утро майор представил оркестру нового гитариста. Новый гитарист с достоинством, но несколько сумбурно начал расшаркиваться. Я закашлялся, предчувствуя приближение бури.

Чумаков раздал ноты, на ходу спросил у Савельева:

— Разберешься, ебть? — и, не дождавшись ответа, взмахнул палочкой.

Оркестр грянул «Прощание славянки», а Валера принялся нежно, не прикасаясь, шарить кривыми пальчиками возле струн.

Майор поковырялся в ухе и, подозрительно посмотрев на моего протеже, сказал:

— Ебть, Савельев. Чтой-то я гитары не слышу. Громкость прибавь.

Валера прибавил и снова принялся ласково полоскать пальчиками около струн.

Страшная догадка озарила Чумакова, и, приказав оркестру замолчать, он попросил Валеру сыграть свою партию индивидуально.

Тот брякнул по гитаре что было силы, и та, издав бессмысленный, крякающий звук, сникла.

Чумаков, красный как рак, прошипел:

— Вы что же это, ебть, за идиота меня принимаете?

Как в воду смотрел. Репетиция была сорвана, а сам Чумаков, перейдя на «вы», затеял грязный скандал.

Была у него такая привычка — прежде чем обволочь оппонента матюшками, с короткого «ты» перейти на ди-

станционное «вы». Он находил особую пикантность в том, чтобы, посылая «к ебене матери» и другим хорошо известным направлениям, почтительно обращаться на «вы». Ему казалось, что так обиднее.

Над оркестром завис матерный туман такой плотности, что пробиться сквозь него не смог бы ни один известный мне современный летательный аппарат.

Наконец туман начал рассеиваться, и на тающем его фоне силуэтно проявилась крепкая майорская фигура. Фигура села за стол, протерла запотевшую лысину и с пророческими словами «Ишь, бля, мудака нашли, ебть!» закурила.

Все! Фонтан иссяк, и буря улеглась.

Можно было переходить ко второму пункту коварного замысла, суть которого заключалась в следующем.

Была у Чумакова идея-фикс: «Москвич»! Идея эта была немолода. Было ей к моменту нашего знакомства лет семь-восемь. Автомобили в ту пору доставались непросто, и, для того чтобы мечта осуществилась, надо было становиться в долгую очередь, а ждать Чумаков не любил. Он был нетерпелив по своей природе. Ему хотелось, чтобы сразу. Как по мановению волшебной палочки. Вот на этом пустычке мы и собрались раскрутить шефа.

Понятно, что после случившегося путь у Савельева был один — возвращение в родной, поджидающий его с топором танковый батальон. Ну и меня туда же. За компанию. А потому, переждав, пока Чумаков отгремит, я вкрадчиво сказал:

— Товарищ майор, в роту вы всегда успеете нас отправить. Но в таком случае вы рискуете остаться без «Москвича».

— Какого еще такого москвича? — искренне изумился Чумаков.

— «Четыреста двенадцатого»!

— Вот еще, е-мое! Так у меня ж его и не было никогда, ебть!

— А мог бы быть, между прочим.

— Каким это образом, интересно, хотелось бы мне узнать? — заволновался Чумаков, почувствовав, что сказка вот-вот может обратиться былью.

Я попал в точку. Надо было ковать, пока горячо.

— Мать Валеры работает на военном заводе. Номерном! — жарко заговорил я. — Ну, не мне вам объяснять, что такое военный завод и какие у них лимиты. Там этих машин как собак недорезанных...

Майор слушал, открыв рот. А я себя ощущал Остапом, выступающим перед жителями Васюков.

— ...Деньги есть, — наговаривал я, не понижая градуса, — пожалуйста, товарищ майор, получай свой законный заработанный «Москвич» безо всякой очереди. И главное — никому переплачивать не надо. Небось знаете, сколько жлобов бродит, лохов выискивают. Это я не про вас, товарищ майор. Это я так, вообще. А тут, сами понимаете, военный завод. Гарантия!

— Ты это серьезно? — У Чумакова даже голова закружилась от волнения.

— Какие шутки, Альберт Никандрыч?

Иногда, в минуты особой близости, я обращался к нему по имени-отчеству. И сейчас такая минута наступила. От майора ко мне шла такая волна умиления и тепла.

— Савельев, а вы меня на понт не берете? — обратился к Валере окрыленный внезапной перспективой получения безочередного автомобиля майор. Слово это был не Савельев, а некий эталон честности.

— Никак нет! — бессовестно соврало мерило правды.

— Ну, и сколько тебе понадобится на рекогносцировку?

— Да деньков восемь! — не моргнул глазом Савельев.

У меня начало создаваться впечатление, что мой дружок на глазах борзеет. Но что интересно: Чумаков мою точку зрения не разделял. Он уже целиком настроился на «Москвич», а потому никакой борзости в ответе подчиненного не разглядел.

— А за шесть,— подхалимски спросил он,— уравишься?

— Могу и за шесть, если напрячься,— милостливо согласился Савельев и уже второй за неделю раз укатил в Москву.

Вернулся он еще более румяный, нежели из прошлой поездки. На фоне бледных лиц сослуживцев савельевский румянец выглядел настолько вызывающе, что раздражал даже меня.

«Разъелся, гнида, на домашних харчах!» — подумалось мне, а вслух я спросил:

— Как дела?

Боевой товарищ по-кулацки сосредоточенно собирал в тумбочку килограммы жратвы, заботливо заготовленные мамашей, и, полностью погруженный в это приятное занятие, даже не расслышал моего вопроса.

— Как дела-то? — погромче спросил я.

— Членовато! — откликнулся наконец боевой товарищ и, распечатав банку с компотом, начал жадно поглощать содержимое.— Машин нет и не предвидится.

— Никаких?

— Никаких! Может, где-то, когда-то, да и то не раньше чем через полгода,— булькал он полным компота ртом.

— Через полгода, говоришь?

Это вселяло определенный оптимизм.

— Значит, так и скажешь. Так, мол, и так, товарищ майор, «Москвичи» будут только через шесть месяцев. Зато есть «Волги».

— Какие еще «Волги»? — насторожился Валера, отложив наконец в сторону ставшую мне ненавистной банку.

— А это уже неважно. Скажешь, что «Волги» есть. И мама уже договорилась с кем надо.

— А если он согласится?

— Не согласится! — уверенно сказал я.— На «Волгу» он не наскребет. Ему «Москвич» подавай.

Затянув потуже ремни, мы постучались в майорский кабинет. Он добродушно похлопал Валеру по плечу и спросил ласково:

— Явился, ебть?

— Значит, так, товарищ майор,— начал отчитываться Валера,— мать поговорила с кем надо, объяснила ситуацию, те пошли навстречу, так что можете вашу «Волгу» хоть завтра забирать.

— Как «Волгу»? — опешил Чумаков.— Почему «Волгу»? На хрена «Волгу»? У меня и денег-то на нее нет. Мне «Москвич» нужен.

Я оказался прав. Со свободной наличностью у майора было туговато.

— «Волга» еще какая-то, ебть! — возмущенно бормотал он.

По всему было видно, что ему и слово-то это неприятно — «Волга»!

— Ну что же поделаешь? Нет пока «Москвичей», — включился я.— Где же их взять, если нету? Правда, обещали, что через полгода могут быть, но знаете, как бывает...

— Через полгода? — обнадежился майор.— Ну, полгода — это еще полбеды. Полгода можно и подождать. Не срок — полгода-то, ебть.

— А как с Валерой? — осторожненько спросил я.

— А что с Валерой? А ничего с Валерой, — похохотывал майор,— посадим его на тарелки. Будет в тарелки бить. Какой же оркестр — без Савельева? В смысле, без тарел-

лок. Тарелки есть важнейшая функция духового оркестра. Ведь так, Савельев? А, ебть?

Савельев, в знак согласия, мотнул головой. Так была получена долгожданная отсрочка.

Поутру мы выстукивали на плацу бравые марши, а вечерами, закрывшись в каптерке, попивали потихоньку водочку-заразу и вспоминали завистливо гражданскую жизнь. Само собой понятно, что, собравшись через полгода в очередную автомобильную командировку и благополучно вернувшись обратно, Валера с грустью вынужден был доложить майору, что с «Москвичами» по-прежнему напряженка, но директор клятвенно обещал и даже божился (здесь Савельев, по-моему, перегнул палку), что через три месяца, может быть, что-то и проклянется.

Чумаков выслушал внимательно, ругнулся своим излюбленным «ебть» и поверил.

А что ему оставалось делать? Прошло еще три месяца, потом еще три и еще три, и так бы и докатились мы на вожденном майорском «Москвиче» до самого дембеля, если бы не вожжа под хвост. Я устал. Я устал и решил отдохнуть в госпитале. Ко времени описываемых событий я уже принимал самое активное участие в ансамбле при Доме офицеров и, более того, стал местной «звездочкой». Не было в дивизии человека известнее меня. Второе, по известности и значимости, место занимал сам командир дивизии — генерал Пилевский. Согласитесь — почетное соседство.

В то дивное время хирургическим отделением заведовал подполковник Кишаян, певун, гулена, бабник — артистическая натура, короче говоря. Среди фельдшеров и санитарок он прославился чтением стихов собственного сочинения в концертах местной самодеятельности. Ну, такой Эдуард Асадов местного значения. Читал он

вдохновенно, громко, и — надо отдать ему должное — получалось отвратительно. Запомнилось мне два его опуса:

Если обними сразу не можешь,
То хоть одною щекою прижмись.
Наши тела так близки, что, похоже,
Дрожь пробегает, как бы компромисс.

Мне, как гурману поэзии, особенно нравилось это самое «как бы». Причем с ударением на «бЫ».

Не менее будоражило мое воображение и второе произведение Кишаяна:

— Не пара мы. Вы — старый и сухой, —
Сказали Вы, презренья не скрывая.
— Да, это так. Я старый и сухой.
А Вы вот мокрая и молодая. —
Сказав, ушел, во мне кипела кровь,
Но вырвал я, как нож, с груди любовь.
С тех пор я к молодым не подхожу,
Я только с однолетками дружу.

Иногда мы встречались с ним за кулисами, и однажды, приятельски похлопав меня по плечу, он сказал:

— Если захочешь недельку-другую отдохнуть от плаца, милости просим к нам на операционный стол.

— Но я здоров, — возражал я.

— Сегодня ты здоров как бык, а завтра — чпок! — и ты кирдык, — хохотнул Кишаян. — Все в этом мире относительно.

Когда мне стало ясно, что час Кишаяна пробил, я, сказав шефу, что мне надо на минуточку в санчасть подлечить зуб, рванул в госпиталь. Кишаян оказался на месте.

— Хоть и скромна моя обитель, вы в ней не первый посетитель, — театрально возвестил он, но, вовремя осознав,

что сей пафос никак не стыкуется с сырыми, подтекшими стенами его кабинета и невероятно загаженным мухами потолком, несколько сбавил тон и уже по-деловому спросил: — Чё надо?

Времени у меня было немного, и я, давясь словами, второпях пересказал ему трагическую, на мой взгляд, историю Савельева, которую блистательно закончил следующими волнительными словами:

— ...Так что, вы понимаете, Михаил Изекович, что под начальством такого самодура и мудозвона я больше не в состоянии служить.

Кишаян не одарил меня сочувствием. Он был человеком дела. Выслушав мою гневную прокурорскую речь, он ненадолго задумался, а потом прагматично произнес:

— Я тебя с аппендицитом положу. Тебе аппендицит вырезали?

— Нет,— торопливо ответил я.

— Ну и хорошо. Вот я тебя с ним, родненьким, и положу.

Я был доволен понятливостью госпитального хирурга. Меня облачили в пижаму цвета выгоревшей на солнце солдатской какашки и определили койку в палате. Вечером в палату заглянул Кишаян и вызвал меня в коридор.

— Значит, так,— сказал он,— с диагнозом «приступ аппендицита» я должен тебя прооперировать. Как ты на это смотришь?

— Отрицательно,— честно признался я.

— Вот и я подумал: на хер тебе это надо,— оживился Кишаян.— А посему я твою старую историю болезни уничтожил, а в новой написал, что у тебя мениск.

Я не знал, что означает это загадочное слово — «мениск».

— Это пустяк,— успокаивал Кишаян.— Ерунда полная. Всего лишь колено. Точнее, жидкость в колене. Вода в ча-

шечке, понял? Полежишь в гипсе, потом я тебе для виду чашечку эту подрежу и сразу зашью. Месячишко здесь по-валяешься, затем на реабилитацию домой поедешь, там еще месячишко проведешь — глядишь, туда-сюда, а уже дембель.

Гипнотический шепот врача убаюкивал сознание. И вдруг страшная догадка молнией прорезала мой успокоившийся было организм.

— А в санчасть полка уже сообщили, что у меня аппендицит? — вкрадчиво спросил я.

— А как же не сообщить, сынок,— обиделся Кишаян.— Конечно, сообщили. Нам скрывать нечего. У нас документация, отчетность.

— А теперь, значит, сообщат, что у меня мениск? — не успокаивался я.

— А почему же нет? — искренне удивился Кишаян.— В обязательном порядке. Так и доложим. Мениск, мол. Ничего не поделаешь.

— Михаил Изекович, я же Чумакову сказал, что иду зубы лечить. Зубы!

— Ну и что? — не переставал удивляться Кишаян.

— Как это — что? Я ему говорю, что иду лечить зубы, через час он узнает, что это вовсе не зубы, а аппендицит, а еще через пару часов — что у меня, оказывается, мениск проявился. Он же с ума сойдет!

— Слушай, не возбуждай меня, пожалуйста,— всерьез начал обижаться Кишаян.— В организме все взаимосвязано. Одно влияет на другое, другое — на третье, а третье вообще непонятно на что влияет. И хватит об этом. Сейчас сестричка придет. Наколенник гипсовый наложит. Тутр называется.

Я сдался. Тутр причинял некоторые неудобства. Он настолько плотно обжимал ногу, что ее невозможно было согнуть. Поэтому при ходьбе ее приходилось выбра-

сывать, как костыль, далеко вперед, и походка приобрела фанфаронски-петушиный характер. Но это еще было полбеды. Самое неприятное заключалось в том, что коленка под тутром отчаянно чесалась. Пытаясь пробраться внутрь для вожделенного акта почесывания, я потихонечку расковырял девственную поверхность гипсового покрытия и наконец расковырял ее так, что тутр стал болтаться на ноге, как флаг на древке во время сильного ветра. Иногда он и вовсе спадал. Возвращая его в исходное положение, я украдкой озирался по сторонам, пытаюсь обнаружить наблюдающий за мной исподтишка циничный шпионский глаз чумаковского резидента. Так прошло две недели. А через две недели Чумаков прислал мне любовное письмо. Ну, по-армейски любовное.

«Послушайте, вы,— писал Чумаков,— будь я даже гидроцефалом (слово-то какое нашел), каковым, как я слышан, вы меня считаете, то и тогда я бы сумел понять, что больные зубы, аппендицит и мениск — вещи совершенно несовместимые. Ваши долбаные защитнички от медицины, эти сраные докторишки, загребли вас с одной целью — они хотят, чтобы вы за время вашей сраной болезни смогли помочь их госпитальной самодеятельности, и все это лишь для того, чтобы подорвать самодеятельность полковую, которой я имею честь руководить. Тем самым эти завистники жаждут низвести меня до уровня сраного дирижеришки сраненького оркестрика. И вы, многоуважаемый, поспешествуете им в этом сраном деле. Но ничего ни у вас, ни у ваших сраных эскулапов не получится. Не на того напали. Так что выбирайте одно из двух — либо вы сейчас же прекратите заигрывания со сраным госпитальным начальством, либо одно из двух. В случае же отказа и вам, и вашему сраному благодетелю п...ц. Это я вам гарантирую и как офицер Советской Армии, и просто как интеллигентный человек».

Вы, конечно, заметили, что чаще всего Чумаков употреблял слово «сранный». Очевидно, именно оно в момент написания письма больше всего соответствовало душевному состоянию майора.

Пакет мне вручил вестовой Витек. Он был по-телеграфному краток:

— Шеф взбешен. Возвращайся.

— Что я, с ума, что ли, сошел? — сказал я, зная своего милого начальника как облупленного.

В минуты гнева он мог невзначай и табуреткой шибануть. А мне вовсе не хотелось, чтобы в моей истории болезни появилась еще одна запись: «пролом черепа тупым предметом».

— Никуда я не пойду. Да и куда я пойду с больной ногой?

Витек укоризненно покачал головой:

— Зря ты все это. Так что ему передать?

— Передай, что мне предстоит операция, — сказал я. И добавил: — Серьезная операция!

Но на мою беду, на следующий день приехала проверяющая комиссия, и Кишаян без всякого зазрения совести выкинул меня за стены уже столь дорогого мне лечебного заведения.

Я кovyлял в оркестр, с ужасом думая о предстоящей встрече с Чумаковым. Предчувствия меня не обманули. Увидев меня, Чумаков отбросил дирижерскую палочку, как бы порывая с еще неостывшими божественными звуками «Встречного марша», который репетировался до хрипоты каждый день на случай неожиданного приезда начальства из Москвы, и мерзко провякал:

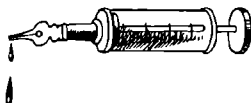
— А ну-ка ногу показать! Быстро!

И, не дожидаясь ответа, чуть ли не зубами разорвал надвое мои крепкие ефрейторские порты. Окончательно

раздолбанный от двухнедельного болтания тутр стремительно скатился с ноги, и глазам потрясенного майора предстала удивительно гладкая поверхность коленной чашечки, игриво припорошенная белой гипсовой пылью. Любому было понятно, что покой этой глянцевої, бело-розовой коленки еще не нарушил хирургический скальпель. Коленка прямо-таки искрилась благодушием и оптимизмом. Она как бы говорила Чумакову: «Посмотри на меня. Посмотри внимательно, и только тогда ты поймешь, что в этом развратном мире есть еще гнезда чистоты и невинности».

Этого Чумаков вынести не смог. Он только сумел крикнуть: «Вон! В пехоту! Вон!» — и схватился за пюпитр с явным желанием швырнуть его в меня.

Заодно пострадал и Савельев. Мы с позором были высланы в батальон. Савельев, имея за плечами два года мединститута и год службы, устроился фельдшером в медсанчасть. А в моем военном билете появилась еще одна загадочная запись: «Рядовой-гранатометчик».



ГЛАВА 15,



**как я Чумакова спас,
или Жаркий февраль в Сочи**

Мой приход в оркестр был ознаменован представлением меня коллективу, а коллектива — мне.

— А вот это,— сказал майор Чумаков, заканчивая общее представление и переходя на личности,— старший прапорщик Падука. Он и будет обучать тебя на тубе.

Прапорщик Падука когда-то в молодости работал фотографом в ателье. «Культурная» профессия наложила на него отпечаток некоторой чопорности. Он никогда, в отличие от других прапоров, не позволял себе вульгарное: «Пойду хлопну водяры!» — а говорил только нежное: «А не остограммографироваться ли мне?» А на вопрос, как прошел вечерок, неизменно отвечал: «Полна диафрагмушка. Щелкнул затворчиком раз восемь», что в переводе на человеческий язык означало: «Нормалек! Принял граммов восемьсот».

Эх, недолго он меня обучал!

Через неделю после моего прихода в оркестр Падука поспорил на бутылку водки, что за полчаса выпьет полтора литра. Водки же. Кореша дружно включили часы. Падука с честью справился с поставленной задачей и уложился в контрольное время. Причем уложился в буквальном смысле этого слова — раз и навсегда.

Обезумев от горя и выпитого, корешки устроили поминки, не отходя от усопшего, уютно расположившись прямо у изголовья. Они соорудили из покойника нечто вроде обеденного стола и аккуратно разложили на его впалой груди выигранную им бутылку водки, стаканчики и закуску.

Когда их обнаружили, компания нажралась так, что разобраться, кто, собственно, из них труп, было решительно невозможно. И только опытный судмедэксперт навскидку определил: трупом является этот. И ведь угадал, подлец. Вот что значит профессионал. Так Падуку и увезли в морг — с останками колбасы на животе и раздавленными там же помидорами.

Я был отлучен от тубы и посажен на большой барабан.

— Играть на нем просто, — успокаивал Чумаков. — У тебя получится. На нем любой мудака сыграет.

Я взял барабан в руки и стукнул по нему колотушкой. Чумаков был прав — нет такого мудака, который не смог бы сыграть на этом замечательно круглом инструменте. У меня тоже получилось. Пополнив собой армию мудаков, я гордо вышагивал впереди полкового оркестра и счастливо выстукивал:

Пум! Пум! Пум-пум-пум!
Пум! Пум! Пум-пум-пум!

Вечерами же я осуществлял «мечтинку» Чумакова. Я писал сценарий музыкально-драматического эпоса «Ленин и теперь живее всех живых». Премьера состоялась 21 января. Чумаков нервничал, исподтишка поглядывал в зал, и от количества звезд его покачивало.

— Пан или пропал! — бормотал он. — Пан или пропал!

Его волнение напрямую передалось мне. Наконец погас свет, и перед очами генералов, их жен и всякого высокого начальства, на фоне занавеса с огромным ржавым от горячей ленинской бороды портретом предстал я. Авторитет вождя давил страшным грузом, а посему на сцену я вышел на полусогнутых и, кое-как добравшись до микрофона, завыл дурным голосом:

– Начинаем концерт, посвященный сорок восьмой годовщине со дня смерти основателя Компартии Советского Союза и Советского государства, выдающегося деятеля, человека с большой буквы...

И тут меня заклинило.

– Ленина! – зловеще прошептал стоящий за спиной Чумаков.

Я стоял бездыханный.

– Ленина! – снова прошептал Чумаков, вращая безумными глазами.

Я продолжал героически молчать.

– Ленина!!! – истерически проревел весь оркестр, предчувствуя неминуемую расправу сразу же по окончании концерта.

– Да я помню, что Ленина, – беззвучно прохрипел я. – Я имя забыл.

Чумаков, щуплый Чумаков, с невесть откуда появившейся силой отбросил меня от микрофона и что было мочи – совсем не по-офицерски, а как-то по-бабьи – завопил в зал:

– Владимира Ильича Ленина-а-а-а-а-а-а!

Холодный пот стекал с него ручьями. Генералы ничего не заметили. Они вежливо поаплодировали традиционному началу, ожидая, что будет дальше.

А дальше...

А дальше все еще находящийся в полуобморочном состоянии Чумаков решил взять бразды ведения программы на себя и вдруг объявил:

– Любимое произведение любимой супруги Ильича – Надежды Константиновны Крупской – романс «Он виноват». Исполняет старший сержант Колодкин.

И облегченно вздохнул, оттого что все так удачно завершилось. Он даже не понял всей скандальности произнесенного. Ну, то, что он сказал: «любимой супруги Ильи-

ча», как будто Ильич где-то в глубинке имел еще одну, не любимую супругу,— это еще полбеды. Катастрофа таилась в другом. Программа, посвященная создателю Советского государства, начинается романсом «Он виноват». И невольно у всякого политработника мог возникнуть вопрос: а в чем виноват? И так же невольно напрашивался ответ — в создании Советского государства.

Перед моим взором, величаво покачиваясь, медленно проплыла Колыма. И пока генералы соображали, что к чему, я закрыл собой Чумакова и прогремел артиллерийским раскатом:

— Любимое произведение вождя Коммунистической партии — бурлацкая песня «Дубинушка»!!! Исполняет хор. Солист тот же.

И выразительно посмотрел на хор. Даже более чем выразительно.

Хор, стоявший за нашими спинами и уже мысленно прощавшийся с семьями, облегченно вздохнул и гаркнул «бурлацкую».

— Но почему? — удивился совсем уже было успокоившийся Чумаков.

— Но потому! — процедил я. Тут уж было не до субординации.

Больше, к счастью, проколов не было. Концерт bravурно прикатил к финалу. Прозвучал последний аккорд, и на сцену вышел комдив. Находясь в таких непривычных для него условиях, он с трудом подбирал слова.

— Бойцы! — сказал он, но вспомнив, что в зале находятся и женщины, добавил: — И ихуи верные жены! Сегодня на территории Дома офицеров состоялся настоящий народный праздник. Силами дивизии наши талантливые самовыродки изобразили нам здесь искрометное мастерство. И позвольте от имени всех, находящихся здесь, поблагодарить замечательный ансамбль

военных солистов за причиненным ими концерт и от лица всего гарнизона выместить благодарность за их мастерство, ихую работоспособность и ихуй прекрасный репертуар.

Чумаков сиял, как галогенная лампа. Шухер пошел. «Мечтинка» осуществилась.

— Поедешь в отпуск,— сказал он.— Куда оформлять?

— В Сочи! — попросил я.— У меня там женщина.

— В Сочи не могу,— отрезал Чумаков.— Или в Москву, откуда призывался, или в Кишинев, к родителям.

— Ладно,— сказал я,— давайте к родителям. В Сочи я контрабандно слетаю.

И стал готовиться к нелегальному отъезду. И вот пришел долгожданный день, и старенький толстопузый Ан-10, поскрипывая и попердывая, помчал меня навстречу очередному приключению. Когда лайнер приземлился, запах мимоз и тепла едва не сбил с ног. Уже успев привыкнуть к казарменной эстетике, я был потрясен цветением весны и другой жизни. Я попал в другое измерение, и в этом другом измерении меня встречала очень красивая женщина. Длинноногая и беловолосая, она возвышалась над толпой, как королева. И то, что королева встречала меня — забаванного рядового в/ч 21038,— казалось чудом.

«Чумаков бы увидел, каков бабеч,— застрелился бы!» — с гордостью подумал я.

— Я заказала тебе номер в гостинице,— сказала Надя.— Рядом с морем. Ничего?

— Конечно, ничего,— ответил я, уже позабыв, что существуют, оказывается, такие замечательные слова, как «гостиница», «номер», «море».

Мы вошли в вестибюль.

— Паспорт! — каркнула администраторша из гостиничного окошка.

— У меня нет паспорта. Я военнослужащий,— произнес я.— Есть военный билет.

— По военному билету только с разрешения военного коменданта. Идите к нему,— снова прокаркала администраторша.

Фейерверк медленно тускнел. Встреча с комендантом никак не входила в мои планы. Так как отпускные документы были оформлены в Кишинев, то всякое уклонение от маршрута считалось дезертирством, о чем я и сказал Наде.

— Ничего страшного,— отреагировала она,— я знаю этого коменданта.

И попросила разрешения позвонить. Администраторша милостиво позволила. Конечно, комендант, как настоящий джентльмен, не мог отказать Надежде. Минут через двадцать мы уже сидели в его кабинете.

— Давайте ваш билет! — сказал он, съедая мою женщину глазами.

Я дал.

— Так! — сказал он, взяв билет и продолжая доедать Надю.

— Билет у вас в руках,— вежливо напомнил я.

— Ага-ага! — спохватился тот, открыв наконец мой документ.

Глаза его полезли на лоб.

— Так вы рядовой? — изумленно спросил он.

— А кто же я, генерал, по-вашему? — не понял я.

— А Надежда Петровна сказала, что вы лейтенант.

— Да какой я лейтенант? Обычный рядовой,— ответил я, недоуменно глядя на Надю.

Та, в свою очередь, тоже ничего не понимала.

— Извини,— пожала плечами она,— я была уверена, что ты лейтенант. Как минимум!

Мне, конечно, польстила Надина уверенность в моем стремительном продвижении по служебной воинской лестнице, но на ход событий это не влияло.

— По идее,— продолжил комендант,— я должен посадить тебя в поезд и этапом отправить в Москву, где на тебя будет заведено уголовное дело.

Поняв, что перед ним не офицер, а всего лишь несчастный солдатишко, комендант потерял ко мне всякое почтение и с уважительного «вы» перешел на презрительное «ты».

— Но вы же не сделаете этого. Вы не посмеете этого сделать! — драматически воскликнула Надя.

Комендант посмотрел на нее с сожалением, не в силах понять, как такая роскошная фемина могла опуститься до уровня общения с таким чмом, каковым я ему казался. «Дура ты безмозглая! — читалось в его взгляде.— Дура ты, дура!»

— Так не сделаете? — снова патетически воскликнула Надя.

— Да чеши ты с ним, куда хочешь,— презрительно сказал он.— Но учти, еще раз попадешься — сдам не задумываясь.

— Ну-с! Что будем делать, Надин? — спросил я, когда мы вышли из комендатуры.

— У моей подружки есть маленький домик на берегу моря. Я на всякий случай взяла ключик. Видишь, пригодился.

Меня всегда поражала женская предусмотрительность. Мы двинулись в сторону домика. Сказать, что подружкин домик был маленьким — значит ничего не сказать. И вообще, меньше всего он напоминал домик. Когда мы подошли к месту, Надя горделиво показала рукой на старый, много повидавший в своей обкаканной жизни сортирчик и сказала:

— Вот он!

— Кто? — не понял я.

— Домик!

— Вот это место общественного пользования ты называешь домиком? — спросил я с некоторой долей брезгливости.

— Но другого все равно нет. Чего ты капризничаешь? — резонно заметила она.

В сортирном домике невозможно было потеряться. Войдя в него, мы сначала уперлись лбом в противоположную стенку, а потом свалились на пол, оказавшийся постелью. О-о-о! Это было коварное хитроумное устройство. Человек, не знакомый с географией сортирного домика, открыв дверь, автоматически обрушивался на постель, не предполагая, что таковая валяется прямо под ногами. С другой стороны, это было очень удобно: попадая в такую постельную мышеловку, женщина — независимо от того, хотела она этого или нет, — стремительно приходила в горизонтальное положение. Так что главным для пылких местных кавказцев было довести курортницу до домика, а все остальное ничего не подозревающая будущая партнерша быстро доделывала сама. Кавалеру оставалось только вовремя открыть дверь и галантно пропустить даму вперед.

В этом подозрительном будуаре мы провели три сопливо-чувствительных дня, после чего мне надо было собираться в дорогу. Прощание было грустным.

— Я знаю, что мы больше никогда не увидимся, — говорила Надя.

— Да брось ты, — хорохорился я, — увидимся, чего там.

Однако интуиция не подвела Надю. Это была наша последняя встреча.

Когда я прибыл в родную часть, казенные стены не вызвали в моей неблагодарной душе никакого сентиментального отклика. Скорее, наоборот. А тут еще начался сезон штабной охоты на музыкантов. Начштаба подполковник Акулов считал оркестр гнездом диссидентства в нашем показательном полку.

— Я раздавлю эту джазовую гидру капитализма своими мозолистыми ногами, руками и другими доступными мне средствами! — гремел он на летучке.

И делал соотвествующее движение сапогом, как бы втирая в землю это доселе не известное науке мерзкое животное.

Примерно раз в месяц он вероломно врывается на территорию и с криком «Всем стоять!» устраивал грандиозный шмон в поисках компромата. Но неожиданные облавы не давали положительных результатов. Оркестр был отвратительно чист, если не сказать — стерилен. В социальном смысле, конечно.

«В чем причина?» — спросите вы.

А в том, что ровно за час до шмона начальника штаба бдительный майор Чумаков устраивал свой.

«Откуда такая интуиция?» — снова спросите вы и будете правы.

Между тем секрет прост: Чумаков на одну восьмую был цыганом. В минуту опасности колдовская цыганская восьмушка как бы сигнализировала Чумакову: «Осторожно, звездац не за горами!» А уж тогда оставшиеся нецыганские семь восьмых подсказывали ему: «Вперед, на опережение звездаца!» Начштаба был бессилен перед магической цыганской восьмушкой и потому всегда запаздывал.

В предчувствии очередного начштабовского налета Чумаков время от времени появлялся в зоне оркестра для личного осмотра на предмет нахождения опальных вещдоков диссидентства до того, как их обнаружит сам Акулов. Сапожные щетки, ножницы, печенье, письма — весь нехитрый солдатский скарб, который мы прятали в тумбочках, разлетался по спальне веселым фейерверком...

Вместе с нами музыкантскую лямку тянул пятнадцатилетний мальчик, воспитанник Чупиков. Мать его работа-

ла в посольстве за границей и, справедливо опасаясь глетворного влияния улицы, списала его в оркестр. Музыкант из Чупикова никак не выкраивался. Ну не выкраивался из него музыкант. Его музой была живопись. С натуры рисовать он не умел, а вот срисовывал вполне прилично. По сути дела он был еще ребенком и больше всего любил картинки из детских журналов. В его тумбочке валялись груды скопированных изображений колобков, курочек, свинок, хомячков и прочей живности. Чумаков, видя упорное нежелание воспитанника овладеть вверенным ему тромбоном, решил занять его хоть каким-то делом и попросил Чупикова оформить самопальную оркестровую стенгазету «Военный музыкант». Два дня и две ночи, спрятавшись на чердаке, Чупиков с упоением отдавался любимому занятию. Наконец газета была готова, и Чупиков вывесил свое детище на стенд. Лицо его сияло, как надраенная солдатская бляха. Коллектив сгруппировался в предвкушении чего-то необычного. Но то, что мы узрели, превзошло все наши ожидания. Через весь газетный лист Чупиков огромными буквами вывел:

«ВОЕННЫЙ МУЗЫКАНТ».

Кроме этих огромных букв, на листе больше ничего не было. Да и зачем? Из каждой буквы, задорно улыбаясь, торчали все любимые чупиковские персонажи, причем к приближенным нам идеологически хомячкам и зайчикам прибавились и идеологически чуждые Микки-Маусы и Дональды Даки. Чумаков, узрев на щите зооплод чупиковских бессонных ночей, побледнел и спросил:

— Начштаба видел?

— Еще нет! — гордо ответил Чупиков, разделяя с майором ту радость, которую только предстояло испытать Акулову при встрече с этим шедевром батально-газетной живописи.

— Точно не видел? — очень тихо спросил Чумаков.

— Точно, точно! — подтвердил юный мастер кисти, скромно потупив взор.

Чумаков впал в транс и начал цвести. В течение нескольких секунд мы имели редкую возможность наблюдать удивительную игру красок. Торжественно-красный превратился в лиловый, лиловый перешел в зеленый, который сменился оранжевым, а затем глубоким синим. Оркестр восхищенно молчал, наблюдая это локальное северное сияние на лице дирижера.

Понятно, что после случившегося Чупикову было строжайше запрещено рисовать, и он вынужден был творить в обстановке строгой секретности. Причем, что следует отметить особо, с фауной было покончено. Чупиков решительно перешел на изображение хомо сапиенс, что его и погубило.

Следующий шмон Чумаков начал непосредственно с чупиковской кровати и, приподняв матрас, сразу обнаружил под ним крамолу — два больших ватманских листа. Осторожно, как змеюку, он взял в руки один из них, приблизил его к очкам и, оглядев нас, удовлетворенно сказал:

— Ну вот!

Мол, этого и следовало ожидать. Весь, так сказать, ход событий указывал на то, что неминуемо должно было случиться. И случилось! Повернув лист так, чтобы всем было видно, Чумаков ткнул в него пальцем и победоносно сказал:

— Сиська! Сись-ка! Причем женская, ебть.

Чупиков молчал.

— Ведь это же сиська, Чупиков? — не унимался майор. — Ведь вы не будете меня убеждать, будто это простреленная грудь раненого бойца?

Чупиков продолжал молчать, медленно умирая.

— Так-так-так,— торжествовал майор, извлекая из-под матраса следующий лист,— посмотрим, какой нам еще выкидонс Чупиков приготовил.

Содержимое второго листа его уже совсем не удивило. Он был бы разочарован, если бы оно оказалось более приличным.

— Пожалуйста! — сказал он.— Смотрите все! Смотрите все, кто еще не видел! Не знаю, как вам, а мне почему-то кажется, что это сильно смахивает на жопу.

И, чтобы убедиться в скабрёзности картинки, снова приблизил ее к очкам.

— Жопа! — кратко подвел он итог увиденному.— Ведь жопа, товарищи солдаты?

— Жопа,— хмуро подтвердили товарищи солдаты.

Чумакова стало раздражать молчание Чупикова.

— Я вас спрашиваю,— грозно обратился он к нему,— жопа это или не жопа, ебть?

— Никак нет, товарищ майор,— тихо ответил Чупиков,— это не жопа.

— Ах не жопа? — хмыкнул майор.— Интересно узнать, что же это тогда?

— Рубенс! — ответил Чупиков, гордо вскинув голову, как партизан на допросе.

— Хуюбенс это, а не Рубенс! — сурово сказал Чумаков.— Вы что, Чупиков, думаете, что если я — майор, то Рубенса от жопы не отличу?

— Это Рубенс! — отчеканил Чупиков.— Я его из «Огонька» вырезал.

И, вытащив из кармана сложенный журнальный лист, протянул его Чумакову.

Чумаков терпел фиаско. А проигрывать какому-то молокосу Чумакову не хотелось.

— Я вам вот что скажу, Чупиков,— произнес он.— Я, конечно, как человек с консерваторским образованием, сра-

зу понял, что это Рубенс. Потому что у меня за плечами не только консерватория с красным дипломом, но и голова, ебть. А вы представьте себе на секунду, что этого вашего Рубенса нашел не я, а начштаба? Вы знаете, что бы сказал этот долбоеб в погонах? Не знаете? А я знаю. Вот это, он бы сказал, сиська, вот это вторая сиська, а вот это жопа. И что я ему отвечу? Что жопу Рубенс нарисовал? Да насрать ему на этого вашего Рубенса триста раз. Он меня на ковер вызовет и скажет, что майор Чумаков превратил жилище воина в бардак и рассадник порнографии. Вот вам и весь сказ. И у кого партбилет заберут? У Рубенса? А, Чупиков? Молчите? Потому что знаете — у Чумакова партбилет заберут. Эх, Чупиков, Чупиков. Пригрел я гадину на груди, ебть.

И, махнув рукой, вышел.



ГЛАВА 16,



**В которой рассказывается
о том, как я помогал
сельскому хозяйству**

И вот я, позорно выгнанный из теплой оркестровой, снова оказался в мотострелковом полку. Командовал ротой старший лейтенант Пеньков.

Когда я появился в расположении, Пеньков созвал сержантов и, ткнув пальцем в мою сторону, произнес:

— Видите этого разъебая?

(Прошу прощения за ненормативную лексику, но из песни слов не выкинешь. Как-никак армия, а не пансион благородных девиц. А посему он так и сказал: «Видите этого разъебая?»)

— Видим, видим! — откликнулись сержанты.

— Глаз за ним да глаз! — И показал мне новенькую записную книжку: — Это для тебя, голубчик. Следить за тобой буду, записывать буду и не успокоюсь, пока я тебя, гада, до дисбата не доведу, — обнадежил он. — Тоже мне белая кость!

Мне не понравилась старлеевская увертюра. Недолго думая я сбегал в магазинчик, купил точно такую же книжицу, даже цвет совпал, надписал ее крупно: «Солдатские жалобы на Пенькова» — и, отведя старшего лейтенанта в сторону, сказал ему:

— Вы на меня бочку катите, и я на вас бочку покачу. Посмотрим, чья бочка шире!

— Ну-ну! — ухмыльнулся Пеньков.

Как участник гарнизонного ансамбля, я имел право уходить из части в Дом офицеров после обеда. А в субботу и воскресенье — вовсе на целый день. Завидев меня в парадной форме, Пеньков аж подпрыгнул от удовольствия.

— И куда же это мы собрались в рабочее время такие чистенькие? — адски улыбаясь, спросил он и записал в книжечку: «Самовольно отлучился из военной части».

— Какое еще самовольное отлучение? — обиделся я.— По приказу генерала во второй половине дня я должен присутствовать на репетициях ансамбля для подготовки отчетного концерта, что является важным политическим мероприятием.

А Пеньков мне на это вдруг говорит:

— А я,— говорит,— хер положил на твоего генерала. И на политическое мероприятие тоже. У меня,— говорит,— стрельбы на носу.

Хоть он и был психом, но такого подарка я от него, честно скажу, не ожидал. А потому с благодарностью произнес:

— Так и зафиксируем: «Положил хер на командира дивизии».

— Ты что же такое пишешь, паскуда? — взвился Пеньков.

— А что, разве что-то не так? — простодушно удивился я.— Только что вы сами сказали: «Я хер положил на твоего генерала!»

— Так я ж — в переносном смысле.

— Хорошо,— согласился я и приписал: «Положил хер на командира дивизии генерала Пилевского, причем сделал это в переносном смысле».

И, подумав, дописал: «...а также отказался отпустить на репетицию, срывая тем самым важное политическое мероприятие».

— И куда же ты с этой цидулькой? — слотнув слюну, спросил старлей.

— Пока на репетицию. А там посмотрим.

Утром я был сброшен с койки. Надо мной склонился Пеньков:

— Московское время шесть часов пятнадцать минут. Записываю: «Проигнорировал подъем». Справедливо? — И сам себе ответил: — Справедливо!

Отзавтракавши, роту увезли на стрельбище. Сержант Громов из моего взвода все время мазал. Пеньков начал тихо психовать. Наконец не выдержал и, подбежав к око-

пу, с криком «Куды ж ты, чмо одноглазое, целишься?» шмякнул Громова сапогом по затылку. Ударил, видно, больно. Ну, может, не очень больно, но мне удобнее было думать, что именно очень.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? — крикнул я из своего углубления.

— Ну, чего еще? — огрызнулся Пеньков.

— Если вы не возражаете, то третьим пунктом в свою книжицу я запишу следующее: «Рукоприкладство и избивание рядового состава».

— Порви! — приказал Пеньков.

— Ага, щас! Не порву!

— Порви!

— Никак нет. Сказал — не порву, значит, не порву, — уперся я.

— Выйти из окопа, мать твою! — заорал, срываясь на птичий клекот, старлей.

Я вышел.

— Лечь, мать твою!

Я лег.

— Встать!

Я встал.

— Лечь!

Я лег.

— Встать!

Я встал.

— Встать! Лечь! Встать! Лечь! — бесился Пеньков, только что пена изо рта не шла.

И я, в точном соответствии с командой, вставал и ложился, только делал это очень аккуратно и очень медленно. Как на киноплёнке в рапиде.

— Быстрее! — орал старлей.

— И рад бы, да никак! — смиренно отвечал я. — У меня с координацией плохо. Меня даже от акробатики освобо-

дили, когда я учился. Ничего сделать не смогли. Такая у меня неважная координация.

Пеньков плюнул и ушел. После обеда повторилась вчерашняя ситуация.

— Куда? — спросил он.

— В Дом офицеров, по приказу генерала, — отрапортовал я.

— А я на твоего генерала... — запел старую песенку Пеньков, но вовремя спохватился. — Бери лопату и марш на стрельбище. Траншеи рыть. А потом — на гауптвахту. На пять суток.

На сей раз комдиву повезло, и мощный детородный орган старшего лейтенанта не лег тяжким бременем на пожилые генеральские плечи.

— С удовольствием бы, но не могу, — развел я руками. — У меня рваная рана в левом полужопии. Штыком случайно поранился. Показать?

— Не надо! Я хер положил на твою рваную рану! — снова завел любимую пластинку Пеньков.

— Странная у вас манера разговаривать, чуть что — сразу хер кладете, — вздохнул я. — Я, с вашего позволения, сделаю в книжице еще одну маленькую запись: «Отказался отпустить раненого бойца в санчасть!»

Пеньков офонарел.

— Итак, что мы имеем в итоге? — подвел я черту, не обращая на Пенькова ровным счетом никакого внимания. — Значит, так. Положил мужскую гениталию на командира дивизии. Это раз.

— Чего-чего я положил? — спросил психологически сломленный старлей.

— Гениталию. Хер, по-вашему! — объяснил я. — Далее. Попытка срыва политического мероприятия. Два. Избиение рядового состава. Три. Отказ отпустить на лечение бойца — это уже четыре. Ну и пять — ругается матом в строю, что строжайше запрещено уставом внутренней службы Советской Армии. Интересная картина вырисовывается, товарищ старший лейтенант!

Пеньков стоял совершенно остолбеневший.

— Вы коммунист? — спросил я.

Ошеломленный Пеньков кивнул.

— М-да! Ну, я пошел.

— В санчасть? — спросила тень Пенькова.

— Никак нет. В политотдел. К полковнику Насырову.

Пеньков сел на скамеечку и схватился за сердце. Я же, четко чеканя шаг, направился в политотдел закладывать Пенькова.

«Да ладно,— подумали вы, наверное,— что за чушь? Пришел какой-то зачуханный солдат, и все перед ним на цыпочки? Брехня!» А вотушки и не брехня. Я действительно был звездой дивизионного масштаба. Написал и поставил торжественное действо к очередной Октябрьской годовщине, потом еще несколько. Получил почетную грамоту, подписанную министром обороны. Ну чем не звезда? И наконец, самое важное — мне покровительствовал сам генерал. Согласитесь, ничто так не окрыляет в армии, как покровительство твоего непосредственного и при этом главного начальника.

Как-то, еще служа в оркестре, я, уж не помню за какой проступок, был отправлен Чумаковым в наряд на кухню. В тот же день в дивизию прибыла кубинская делегация, да не просто сама по себе, а с Фиделем Кастро. Их поводили по образцово-показательным казармам, прокатили на образцово-показательном танке, покормили в образцово-показательной солдатской столовой (обед привезли из ресторана «Арагви» на генеральской машине) и, наконец, вечером, под закуску, нанесли по кубинцам образцово-показательный концерт. Просматривая списки участников и не найдя в нем моей фамилии, генерал удивленно спросил у адъютанта:

— А где длинный?

— На кухне,— доложил адъютант.

— Как на кухне? — загремел генерал.— Какой мурак его туда отправил?

— Известно какой! — бесцветным голосом сказал адъютант.— Чумаков!

— Длинного в клуб! — приказал генерал.— А Чумакову поставить на вид.

Когда я, зайдя в Дом офицеров, гордо продефилировал мимо уже бывшего в курсе генеральского приказа Чумакова, то тот, чтобы, не дай господи, кто-то не расслышал, прошипел мне в самое ухо: «Защитничка, бля, нашли, ебть?» И резво отбежал в сторону. Редкой храбрости был мужчина.

И вот вхожу я, значит, в политотдел закладывать старшего лейтенанта и понимаю, что заложить я его не могу. Ну, создала его таким природа. Да и профессия отпечаток наложила. И потому, зайдя в полковничий кабинет, я попросился на целину.

— А что ты будешь там делать? — удивился Насыров.— Там же водители нужны. Умеешь водить?

— Не умею! — признался я.

— Тогда зачем?

— Не знаю. Проедусь по батальонам. Поищу музыкантов. Сколотим концертную бригадку. И вам плюс. Позаботились о солдатском досуге.

— Езжай! — махнул рукой полковник, и через две недели потный воинский эшелон привез меня на благословенную казахстанскую землю.

Но прежде чем попасть в сей желанный эшелон, мне предстояло еще одно испытание — войсковые учения. Суворов однажды сказал: «Тяжело в учении, легко в бою». Ну, не знаю, как уж там в бою, но на учениях действительно пришлось несладко. Как только мы прибыли на полигон, из уст незнакомого сержанта прозвучала благая весть:

— Сейчас вам будет очень плохо. Сейчас вам предстоит марш-бросок на десять километров с полной выкладкой!!!

С «полной выкладкой» — это значит болтающаяся в свободном полете за спиной скатанная шинель и личное

оружие. На мое счастье, мое личное оружие представляло собой не что иное, как гранатомет, весящий килограммов эдак двадцать. И то и другое, безусловно, очень способствовало непринужденному легкому бегу по очень сильно пересеченной местности и придавало передвижению особую, ни с чем не сравнимую бодрость.

Первый километр я выдержал достойно, зато на втором начал активно терять сначала товарный вид, а потом и сознание. И, что характерно, не переставая при этом бежать. Я чувствовал, как душа покидает мое самопередвигающееся и уже ничего не соображающее тело, потом я потерял плоть и ощутил себя ангелом-гранатометчиком, величаво бороздящим безвоздушное пространство вселенной. Рядом летали такие же ангелы. Кто с автоматом, кто с гранатой, а кто и с трехлинейкой. Эти еще, наверное, были с той войны, с Первой мировой 14-го года. Похоронный оркестр, удобно разместившись на облаках, величаво играл траурный марш. Внезапно всё кончилось, и сквозь Шопена прорвался все тот же сержант, кричавший невыслышимым фальцетом:

— Отставить бег. Привал.

Я медленно возвращался на землю. О, как я был прекрасен в реинкарнации... Сбитые в кровь ноги, волдыри на спине, руки, висящие как плети, высохший язык, выпавший изо рта чуть ли не до колен, волевое, но синюшное лицо — все это представляло собой прекрасный образец советского воина, защитника Отечества, которому, правда, в настоящее время было не до защиты, поскольку он сам одной ногой уже стоял в могиле.

Но сержант не давал нам покоя и после короткой передышки сообщил нам, что, оказывается, на нас уже наступает условный противник, и не далее как к утру — о ужас! — мы столкнемся с этой нечистой нос к носу. А посему, дабы быть надежно защищенным, каждый взвод должен за ночь вы-

рыть траншею из расчета десять метров на человека. В моем взводе нас было шестеро. Итого — шестьдесят метров. Не хило, да? Это за ночь-то шестьдесят метров траншеи полутора-метровой глубины и метровой ширины. Вот какой чудесный подарок сделал нам щебечущий сержант. Как мы были ему благодарны, этому простому хорошему пареньку в погонах. Наши груди распирало от предчувствия восторга, который испытают наши руки, взявшись за столь благородное дело. И мы начали копать. Часа через два пошел ливень. Но мы продолжали копать. Выброшенная земля превращалась в грязь и скатывалась обратно в траншею, но мы продолжали копать. Траншея уже превратилась в небольшую водную артерию, но мы все равно продолжали копать. И к шести утра мы ее добились. Мы добились ее, эту мокрую, скользкую заразу, и я, сделав последний бросок лопатой, рухнул как подкошенный и уснул прямо там, где стоял. А проснулся я от крика: «Гадюка!» Я еще подумал: «За что это меня так?» — но, открыв глаза, действительно увидел гадюку. Рядом со мной. Она смотрела на меня блеклым глазом и очевидно размышляла, как ей со мной поступить — кусать или все-таки оставить в покое. Пока эта апатичная тварь думала, раздалась короткая автоматная очередь, и пресмыкающееся безвременно ушло из жизни. Оно умирало чуть ли не у меня на руках. Но я не стал ее оплакивать. Я встал, огляделся, отряхнулся и вспомнил, что сегодня у меня день рождения. И я подумал, что никогда еще мой день рождения не начинался так помпезно, как сегодня.

К ночи меня поставили дневалить у штабной палатки. Строго приказали посторонних не пропускать и назвали пароль — «Ласточка». Отзыв — «Ястреб». Ну, заступил я на пост. В руках у меня «калашников». На «калашникове» штык-нож. Стою. Слушаю, как матюгаются негромко офицеры в палатке, как ухают совы, как воеет всякое лесное зверье.

Вдруг подъехал «уазик». Из «уазика» мужик выходит. Вижу, что в форме, а какого звания — не вижу. Ночь же.

Я фонарик на него направил. «Стой! — говорю.— Пароль — „Ласточка“. Отзыв?».

А он мне: «Орел». И идет на меня.

— Стой! — говорю.— Стрелять буду. Последний раз спрашиваю: пароль — «Ласточка». Отзыв?

А он мне опять: «Орел».

И продолжает идти. Ах ты, думаю, вражина. И приставляю штык-нож прямо к его жирному брюху. И тихонько так этим штыком подталкиваю. Ну он, естественно, пятится. А сзади дерево. Тут он всей своей тушей о дерево — хрясть! А мой штык-нож согласно всем физическим законам по инерции еще продолжает свой победный путь вперед. В общем, проколол я ему пиво. Так чувствительно проколол, с душой.

Что тут началось! Батюшки-светы!

— Да ёбже ж твою, ёбже ж! Ах, ёбже ж твою, разьёбже ж! На проверяющего из штаба дивизии, да с ножом, ёбже ж вашу, разьёбже ж?

В общем, заклинило его на этом ёбжике. Неинтересно даже стало. Офицер, а какой маленький словарный запас!

Делу этому ход не дали. Какой уж тут ход? Я ведь долг часового выполнял. Проверяющий — не проверяющий, а пароль-то он неправильно назвал. Рады бы, конечно, посадить, да не за что.

Целина встретила меня тяжелым запахом давно уже превращенной в склад церкви, переделанной на летний период под казарму, и пьяными драками «курортников». Курортниками звали здесь тех, кого военкомат на время страды призывал на несколько месяцев. Все они были шоферюгами, всем им было далеко за тридцать, у всех у них остались семьи, и понятно, что, оторвавшись от дома, они гудели на всю ивановскую. Самым заметным среди них был, безусловно, Михеич по кличке Констанс. Каждый вечер, напившись до безобразия, он зачинал песнь, причем

делал это по принципу акынов — что вижу, то и пою. Это была даже не песня, а эдакая разнузданная музыкально-разговорная импровизация в былинном стиле. Мужики подбрасывали тему, и Михеич-Констанс тут же, не раздумывая, начинал свой нехитрый рассказ. Однажды, когда он, полувырубленный, постанывая, рухнул дровами на кровать, я, чтобы как-то привести его в чувство, спросил:

— А как тебя на целину вызвонили?

Михеич, словно не он помирал минуту назад, вскочил ванькой-встанькой и, ни секунды не раздумывая, зачал очередную былинную импровизацию:

Дело было во субботушку,
 Во субботушку да в июнь-месяце.
 Я лежу себе на диванчике,
 Обожравшийся водкой-матушкой.
 Я лежу себе, знай, порыгиваю,
 Ой порыгиваю да поплеываю.
 Тока слышу вдруг стук раздался в дверь,
 Глянь — Семен стоит, участковый наш.
 Руки крюками, харя толстая,
 В избу входит, гад, не здоровайца,
 Не здоровайца, ряха подлая,
 Да под нос сует мне повесточку.
 А повестка та военкомовска,
 И печать на ней с муди конские.
 Говорит Семен, язва гнойная:
 «Собирай живей шмутье драное
 И уяблывай нонче вечером».
 Удивился я, аж шары на лоб,
 И на кой мне ляд на ночь глядючи,
 Пьяным будучи, на хрен ехать.
 Говорю тогда участковому:
 «Аль не знаешь, мент, пьянь сержантская,
 Что шофером я у Степанова.
 А отпустит ли мил начальничек,
 Чтой-то шибко я сумлеваюся».
 Тока по фигу участковому
 Была речь моя благородная.
 Мол, помалкывай, вошь плешивая,

Есть с начальником договоренность.
 Я тогда ужо разобиделся,
 Разобиделся, закручинился.
 Говорю ему:
 «Как же ехать-то, с кондачка
 Да вдруг, пидер долбаный?»
 Тока делать мне, видно, нечего,
 А жена моя во коровнике.
 «Ты давай,— кричу,— собирай меня,
 Уезжаю, мол, прямо тута же».
 Как услышала про отъезд-то мой,
 Про неожиданный отъезд супружница,
 Как была она во коровнике,
 Прямо рядом с телком и грохнулась.
 По всему видать, больно шмякнулась,
 Красна кровь течет стружкой тонкою.
 Красна кровь течет, на лбу шишечка,
 И лежит с телком ни жива-мертва.
 «Как же,— плачеца,— одиношенькой,
 Да с хозяйством таким управица?
 Чай, коровы не будут доены,
 Огород, чай, не будет вспаханный».
 Убиваеца моя милая,
 Да до пят слезьми умываеца.
 Испытал я нежность великую.
 «Ах ты,— думаю,— лапа-лапушка».
 Вынимаю из брюк шершавого
 Да даю его в руки белые.
 Как взяла она его в рученьки,
 Еще пуще в слезах забилася.

Дойдя до этого места, Михеич петь перестал.

По лицу его хлынули горькие потоки, и он, продира-
 ясь сквозь рыдания, со словами «Как же ты, милая, дей-
 ствительно без шершавого дружочка?» вдруг вытащил из
 мятых кальсон вялое свое естество и, как-то очень по-де-
 ловому, сноровисто накрутил его на никелированную
 ручку кровати на два оборота. Движение это было столь
 отработано, что по всему было видно — исполнял сей
 трюк Михеич далеко не в первый раз. Я, признаюсь, та-
 кого представить себе не мог ни во сне, ни наяву.

А Михеич, разбушевавшись не на шутку, скинул стремительно кальсоны и со страшным криком «А ебись оно все конем!» выскочил из церквушки, полез на крышу и, поигрывая фаллосом, как гаишник милицейским жезлом, заорал в сторону сельсовета:

— Крестьяне, видали такого?

Вся деревня встала как вкопанная и от изумления открыла рот.

Чего-чего, а такого она действительно не видала даже во времена коллективизации.

Приехавший ротный брызгал от ярости слюной и, уже совсем отчаявшись, сознавая свое бессилие, завопил благим матом:

— Михеев, именем маршала Гречко, приказываю прикрыть яйца!

Куда там!

Вконец обезумевший Михеич носился по крыше мотыльком, лихо перепрыгивая с куполка на куполок, и в ответ на командирский приказ с крыши доносилось только: «Ну что, нехристи, видали такого?» Только к ночи он угомонился и сдался на милость победителю.

Михеича одели, связали на всякий случай и отвезли в штаб. Так Михеич и не появился. Очевидно, его отправили домой. А жаль. С ним было весело.

И вот я на целине.

Нежно приобняв командира целинного батальона, я сказал ему доверительно:

— Вот, прикомандирован к вам с благородной целью поднятия классового и культурного сознания воинских масс. С чего начнем?

Тот оказался понятливым.

— Начнем с оформления ленинской комнаты.— И, помолчав, добавил: — Ею же и закончим.

— Как будем оформлять? — спросил я.

— Ну как... Условия у нас полевые. Я думаю, обойдемся портретами членов Политбюро и столиком для свежего номера газеты «Правда».

Членов Политбюро я сразу же обнаружил в канцелярском магазине райцентра. Там же купил и рамки для них. Однако возникла проблема. Члены решительно не вписывались в рамочные габариты. Подумав, я пришел к печальному выводу, что всем им, увы, не избежать обрезания, за которое я и взялся сразу же, не откладывая этот древний обряд на какой-нибудь другой день.

Скажу честно, в момент обрезания я почувствовал некоторый религиозный трепет, переходящий в экстаз. Я ощутил себя раввином, который обращает в иудейство целую группу православных партийных работников. Наконец черное дело было сделано, и из рамок на меня уныло глядели двенадцать сморщенных головок членов Политбюро. Теперь надо было их где-то повесить. То есть возникла потребность в помещении.

— Поставишь палатку,— сказал целинный командир,— и оборудуешь ее под ленинскую комнату.

Легко сказать — поставишь! До этого вся моя жизнь складывалась так, что у меня не возникало необходимости в становлении палаток. Но приказ есть приказ. Я развернул вверенное мне брезентовое безобразие и начал с ним неравную борьбу. Часа через три при помощи колышков, топора и ежесекундного «ёб твою мать» палатка была водружена на место. Я принес туда портреты и, натянув проволоку, торжественно развесил всю эту партийную кодлу.

«Хорошо,— подумал я,— папа был бы рад за меня. Надо идти к командиру».

И только я об этом подумал, налетел сумасшедший ветер, который снес мою палатку, как былинку. Ветер был такой силы, что и палатка, и портреты запарусили и, поднявшись этакой группой воздушных змеев, вскоре исчез

ли в воздушном пространстве Казахстана. Палатку я больше не видел, чего не могу сказать о членах Политбюро. Их я наблюдал еще долгие годы.

Утром «курортные» машины разъезжались по полям, а я, в ожидании команды сверху, болтался по деревне, как цветок в проруби. Иногда по ночам, чтобы не сойти от скуки с ума, уходил в лес и там, в тиши лесной чащи, наговаривал старые, доармейские монологи.

Однажды, уйдя в очередной ночной поход, я вдруг услышал громово сверху:

– Шаинского знаешь? Про «к сожаленью, день рожденья»?

Представьте только – кругом темень, совы ухают, листья шуршат, и тут вдруг этот небесный голос.

– Кто это? – спросил я, внутренне готовый к тому, что голос скажет: «Не узнал, что ли, Господа своего?»

Ответом, однако, мне было молчание. Я трухнул еще больше.

– Кто это? – снова спросил я, обмирая.

И тут с неба донеслось:

– Это мы, слесарюги, пьем на елке.

– А ваши натруженные мозолистые задницы иголки не щекочут? – облегченно выдохнул я.

Больше я в лес не ходил.

Через несколько дней завмаг предложил за бутылку водки разгрузить приезжающий из города грузовик с продуктами. Я согласился, тем более что грузовик приезжал каждый день. Выпить столько один я не мог, а потому начал искать напарника, коего и нашел в местной школе.

Звали его Вова Штукин и работал он преподавателем по труду.

Штукин очень любил искусство и, узнав, что я как бы имею к этому отношение, охотно пошел на знакомство. Пьянел он быстро, а опьянев, всегда приставал ко мне с одним и тем же вопросом.

— Вот ты артист из Москвы. Ведь так?

— Так! — соглашался я.

— А я — простой деревенский учитель. Так?

— Так-так!

— И вот этот простой деревенский учитель пьет...— здесь он обычно приподнимал указательный палец, — пьет с самим артистом из Москвы!

— Ну?

— Гну! Вот я и спрашиваю: как ты думаешь — может, это и есть демократия?

Обычно, разгрузив машину и получив за это законную бутылку, я тихонько стучал в окно штукинской мастерской.

Завидев меня, он моментом собирался, говоря на ходу сельским учащимся:

— Ну, вы, дети, пока разбирайтесь тут без меня, работайте, одним словом. Ага? — и, не дожидаясь ответа, быстренько ретировался.

Я любил штукинские вечера.

Когда я разговаривал с ним, мне казалось, что я действительно принадлежу к сонму избранных. Хмелел Штукин, повторяю, не заставляя себя ждать.

— А вот скажи, — спрашивал он, поддатенький, — а ты Кобзона видел?

— Видел, — отвечал я.

— Ну и как?

— Да никак. Кобзон и Кобзон.

— А близко видел? — возбуждался Штукин.

— Как тебя.

— А то, что у него парик, это правда или гонят?

— Вроде правда.

— Да ну?! Повезло тебе. Надо же, самого Кобзона без парика видел. А я только по телику. Да и то с париком. А Миронова видел?

— Андрея-то? Видел. Он даже дома у меня был.

Андрей действительно был как-то у нас в гостях, и отец после сытного обеда пристал к нему как с ножом к горлу:

— Андрюша, а ваша мама, случайно, не еврейка?

— Мама русская, — ответил Андрей.

— Странно, — сказал папа, — а такая талантливая...

Очень странно. А папа?

— Папа еврей.

— Папа еврей? Это хорошо. Тогда все сразу становится на свои места, — удовлетворился отец и попросил: — Скажите что-нибудь по-еврейски.

— Я не умею, — честно признался Миронов.

— Как не умеете? — поразился батя. — У вас же папа еврей.

— А при чем здесь папа? — удивился Миронов. — Папа — москвич.

— Ваш папа в первую очередь — еврей и только во вторую — москвич! — нравоучительно сказал отец.

— Да какая разница, кто он в первую очередь, — отбилсЯ Андрюша. — Это ничего не значит.

— Как «ничего не значит»? Еврей не говорит по-еврейски, и это уже, оказывается, ничего не значит! Как это может быть? — возмутился батя. — Ну хорошо, допустим, что ваш папа не говорит по-еврейски, потому что он москвич, хотя понять этого невозможно. Забудем вашего папу как кошмарный сон. А вы можете?

— Я тем более не могу! — решительно отказался Миронов.

— То есть вы хотите сказать, что вы наполовину еврей и не знаете еврейского языка?

— Именно так.

— Ни одного слова?

— Ни од-но-го!!!

— Не понимаю! Хотя чего можно ожидать от человека, у которого папа москвич! — разочарованно протянул отец. И, прямо на глазах теряя к Миронову всякий интерес, ушел в другую комнату.

Воспоминание вспыхнуло и ушло. А Штукин продолжал засыпать меня вопросами.

— А Стриженова видел?

— Видел.

— А Райкина?

— Видел.

— А Райкин не лысый?

— Нет, Райкин не лысый.

— А Гурченко?

— И Гурченко не лысая.

— Да я не в смысле лысая — не лысая. Я в смысле — видел ее сблизито-то??

— Гурченко не видел.

— И я не видел! — Ему стало приятно, что хоть в чем-то мы с ним совпали.

Иногда, для разнообразия, мы рубились в шашки. Играл он прилично, но занятие это было невыносимое. Штукин засыпал после каждого хода. Мне это надоело. И однажды, когда он, пройдя в дамки, опять захрапел, я выключил свет. Комната погрузилась во тьму.

— Вовик! — толкнул я локтем спящего сном праведника Штукина. — Твой ход.

Штукин проснулся и открыл глаза. Сначала было тихо. Очень тихо. А потом комнату огласил нечеловеческий крик.

— Ой, ратуйте, чоловіки! — заголосил Штукин. — Нэ бачу! Зовсим нэ бачу!

Я нажал на выключатель. Стало светло, однако Штукин продолжал голосить:

— Ратуйте! Нэ бачу! Ни трошки нэ бачу!

— Штукин! — заорал я, сам испугавшись. — Очнись! Как же ты не видишь, если я свет включил!

— Ой, жинка моя кохана, — рыдал, обхватив меня за талию, ополоумевший Штукин, — нэ бачу! Як же це? Як же тэпэрь! Очи нэ бачут. Допився.

Не зная, что делать, я ударил Штукина шахматной доской по голове.

— Мамо! — в момент просветлился Штукин.— Бачу! Я бачу! А шо это було?

— Лампу я вырубил,— снял я с души грех.

— Знаешь — признался пришедший в себя через несколько секунд Штукин,— а я ведь до этого никогда по-украински не говорил... С чего бы это я, как ты думаешь?

Но вот наконец пришла долгожданная телефонограмма из штаба, и я на допотопном, раздолбанном «уазике» отправился по батальонам в поисках подходящих кандидатур для будущей концертной бригады. Отбор проходил по очень простому принципу.

— Халявщики есть? — спрашивал я у очередного командира.

— Да навалом,— обычно отвечал тот.

Я прослушивал халявщиков, и, как правило, метод осечки не давал. У всех у них явно обозначались артистические способности. Связь между халявой и артистизмом была настолько очевидна, что мне порой становилось обидно за свою профессию!

Вскоре бригада была сформирована. Две недели ушло на репетиции, и после успешной сдачи программы мы для осуществления шефской культурной миссии отправились в глубинку. Начальство было довольно. Один только зам по тылу после просмотра угрюмо буркнул:

— Что это за бригада такая? Говно, а не бригада.

Дабы мы, отпущенные на вольные хлеба, не наделали глупостей, нам назначили двух ответственных. Майора Шепилова и совсем еще молоденького лейтенанта Архипова.

Майор был настроен решительно.

— Я эти бесплатные концерты для солдафонов в гробу видал. К селянам поедем! — и, засев за старенький «ундервуд», отбил на нем около пяти тысяч билетов. От отпеча-

танных на тонкой выцветшей бумаге билетов без штампа за версту несло липой.

— Могут прихватить! — прозрачно намекнул я майору.

— А тебе-то что? — удивился он.— Ты солдат, с тебя спросу нет. А за меня не ссы. Я пятнадцать лет Отечеству служу.

Я пришел к неутешительному выводу, что майор алчен и любит поживиться за государственный счет. Лейтенант же во время нашей непродолжительной беседы тактично помалкивал, подсчитывая в уме барыши.

По самым скромным подсчетам получалось, что за концерт можно было хапнуть рубликов триста. Нам перепадало на карманные расходы, а остальное офицеры побратски делили между собой. Семьдесят процентов майору, тридцать — лейтенанту.

Архипов съездил в район и привез свеженькую, еще пахнущую краской афишу, текст которой многообещающе гласил: «Воины — труженикам села. При участии артистов цирка, эстрады, кино и телевидения. В программе шутки, песни и танцы, а также танцы, песни и шутки».

Под громкими словами «артисты цирка, эстрады, кино и телевидения» подразумевался я один.

Я закончил цирковое училище, год проработал на эстраде, раза два мелькнул в массовке на телевидении, а в кино снялся в эпизоде, произнеся одну только душещемящую фразу: «И замок подорвать?» До сих пор мучает меня загадка — к чему я ее тогда сказал, так как сценария не читал, а фильма не видел.

Афиша манила и зазывала, и простодушные «селяне» валом валили в Дом культуры.

После концерта толпа разочарованно расходилась по домам.

— Тьфу ты! — плевали они с досады.— Опять напарили. Ну да и пятьдесят копеек — не деньги.

Майор все рассчитал правильно.

ГЛАВА 17,



**В которой я рассказываю
о солдатской любви
и наконец прощаюсь с армией**

Конечно, пока служил, случались и романы. Не без того.

Со студенточками там всякими. Их, родимых, государство также не обделяло вниманием и по осени направляло в колхозы помогать беременному от урожаям и вечно недонашивающему их сельскому хозяйству.

Поначалу в моих подружках значилась некая Светочка, которой Крылов, мой приятель, присвоил почетную кличку «Наш зеленый крокодил». Присвоил по простой причине.

Светочка все время нашего знакомства проходила в зеленых штанах. Я думал, что Светочка носила эти отвратительного цвета штаны исключительно из-за студенческой бедности.

Но штаны действительно раздражали. Они низводили мои высокие чувства до уровня мусорного бачка. Мне кажется, что и роман наш закончился так быстро именно из-за этих вытянутых в коленках, неопрятных зеленых штанов. Эти штаны утомляли своим однообразием, и от всего, что их окружало, веяло монотонностью и скукой. Если бы Ромео повстречал Джульетту в подобного рода штанах, человечество лишилось бы одного из лучших шекспировских творений.

Каково же было мое удивление, когда через месяц, случайно оказавшись в городе и заметив в толпе шикарно одетую фифу, я узнал в этой самой фифе

Светку. На ней было умопомрачительное пальто и поражающие воображение своей длиной и экстравагантностью сапоги. Я начал ощущать вновь пробивающиеся робкие ростки любви. Но внезапно всплывший в сознании образ зеленых пузырящихся штанов уже окончательно похоронил попытавшееся было реанимироваться чувство. Вот ведь, казалось бы, обыкновенные штаны, а какая в них сила, однако. Особенно внутри.

От Светочки, чтобы далеко не ходить, я переметнулся к ее ближайшей подруге Гале. Молод был! Подл! И не то чтобы Галя нравилась мне больше, просто в отличие от Светочки у Гали кроме таких же зеленых штанов были еще и две юбки, которые умело варьировались. Согласитесь, когда у девушки, кроме штанов, есть еще и юбка, и даже не одна, это уже внушает уважение.

Так, занятый концертами, перемежающимися скоротечными, как чахотка, романами, я и добрался до дембеля. Срок службы истек.

Пришла пора возвращаться в дивизию. За два месяца страды половина автопарка, брошенного на уборку урожая, была уничтожена воинскими водителями с какой-то звериной жестокостью. Как будто на этих машинах ездили не советские граждане, а группа особо обученных вражеских диверсантов. Все машины независимо от их состояния обязаны были для отчетности вернуться на место их убийства. А посему автомобили, которые загадочным образом еще могли как-то передвигаться самостоятельно, брали на прицеп своих убитых товарищей, дабы довести их до станции, где их останки погружались на железнодорожные платформы с похоронной торжественностью.

Я сидел в головном грузовике, который волохал за собой на жестком прицепе нечто уж совсем непотребное.

Без стекол, мотора и тормозов. Из жизненно важных автомобильных деталей на нем имел место быть только руль. Да и тот выглядел крайне сомнительно. Тем не менее штурвал, которую мы тащили, как-то передвигалась. Вопреки всем законам динамики.

Надо сказать, что на дворе стоял ноябрь, и температура была совсем не летней. Минус пятнадцать. Плюс ветер. Но я этого не ощущал, так как у нас в кабине было тепло и уютно. Когда до станции погрузки оставалось всего несколько километров, остановились покурить, ну и пописать, конечно. Из прицепной машины вывалился шофер с черным от мороза лицом.

— Отогреться надо, — говорит. — А то дуба дам.

— А давай я поведу, — неожиданно для самого себя сказал я.

— А ты сможешь? — спросил, клая, как вампир, зубами, отмороженный водитель.

— А то! — нахально ответил я, совершенно позабыв о том, что до этого дня за баранку никогда не брался.

Но мне почему-то показалось, что для езды на машине, следующей на жестком прицепе, особых навыков не потребуется. Рули себе в удовольствие, и все дела. О, как я жестоко ошибался!

Праздничная, как мне думалось, прогулка очень скоро начала обретать трагические очертания. В какой-то момент мне даже показалось, что я сам себя везу на кладбище. Причем в один конец.

Во-первых, я никак не мог удержать управление. Моего железного коня бросало из стороны в сторону, но я каким-то непостижимым образом все-таки увиливал от встречного транспорта.

А во-вторых, что самое страшное, очень скоро я начал покрываться ледком, что было совершенно логично при минус пятнадцати, легком встречном бризе и

отсутствии стекол. И вот тут перед моими очами снова возник светлый образ генерала Карбышева. Причем на этот раз значительно более голографично. Орать, чтобы остановились, было бессмысленно — все равно никто не услышит. А посему я тихо подышал, утешая себя тем, что ехать оставалось недолго и мои муки скоро закончатся.

И вдруг тащивший меня грузовик ни с того ни с сего резко ушел направо. Для меня этот маневр, честно говоря, стал большой неожиданностью. Нет, ну действительно — ехали-ехали по прямой, и вдруг на тебе! Поворот. Мне и в голову не пришло погнаться за столь резво убегающим лидером. А если бы даже и пришло — что толку? Человек первый раз за рулем — чего вы от него хотите?

Жесткий прицеп смачно хрустнул, и мое полуживое, без стекол, тормозов и мотора авто осталось один на один с дорогой. Да не просто дорогой, а дорогой, очень и очень круто уходящей вниз.

«Каюк!» — подумал я про себя и был недалек от истины. Надо было как-то останавливаться, но без тормозов машина решительно отказывалась совершить столь благородный при данных обстоятельствах поступок. Я кинул прощальный взгляд на дорогу и понял, что положение мое еще хуже, чем можно было предположить. Справа автобусная остановка, на которой мирно бултыхалась не ожидающая ничего плохого толпа. Было в этой толпе столько щемящей наивности, что давить ни за что ни про что такую массу безвинного народа было бы, по меньшей мере, невежливо. Слева же зловеще чернел кювет. Широкий, глубокий, отвратительный кювет. Но выхода не было. Это был мой единственный шанс. Я закрыл глаза и рванул налево. Или наоборот — рванул налево и закрыл глаза.

Мой ошарашенный автомобиль совершил отчаянный кульбит, в результате которого я вылетел в окно и, пролетев метров десять, влип в сугроб. Пролетав в нем некоторое время бездыханный, я наконец пришел в себя и, оглядевшись, обнаружил, к своему удивлению, что я не в раю. Тут ко мне подбежала целая компания с бледными лицами. Это были гаишник и наши «курортники».

— Живой? — спросили они хорошо спетым хором.

— Ну вроде да! — сказал я и осторожно пошлепал себя по ногам. Целы! И руки целы. И башка. И вообще, ни одной царапины. Вот уж чудо так чудо. В этот момент я окончательно решил, что никогда не буду водителем. И держу свое слово до сих пор.

Вернувшись в дивизию, я узнал, что моя, так сказать, «вольная» уже подписана и я могу забрать документы хоть сейчас.

— И где воны? — спросил я игриво у дежурного по части.

— У Пенькова, — был ответ.

Игривость покинула меня. Все возвращалось на круги своя.

Я не хотел встречаться с Пеньковым. И вовсе не потому, что сердце мое разрывалось от жалости из-за предстоящего расставания с любимым командиром.

Причина была несколько иная — за время целинных скитаний я отрастил усы и длиннющую, до плеч, шевелюру. Я не сомневался, что при виде столь романтично выглядящего подчиненного Пеньков не отдаст моих верительных бумаг, пока не обкорнает налысо. А осознав сие, направился в санчасть. К Савельеву.

— Валера! — сказал я. — Видишь мою харю?

— Вижу!

Валера восхищенно рассматривал казацкие усы и львиную гриву.

— Я сейчас иду к Пенькову. Ты понял?

— Обстрижет, на фиг! — догадался Валера и задумался.

Но ненадолго. После паузы он залез в шкафчик, извлек оттуда рулон бинта и ловко обмотал им мою физиономию. Да так, что из обертки проглядывали только кончик носа и два глаза.

— Ну как? — спросил он.— Ничего?

— Ничего,— согласился я,— только стерильно очень.

— Есть маленько,— сказал Савельев и наметанным глазом художника нанес на бинт несколько широких йодовых мазков.

Йод был похож на спекшуюся кровь, и теперь я смахивал на недобитого красноармейца, чудом вышедшего из окружения.

— Щас-щас-щас! — оценивал свое произведение взглядом творца Савельев.— Шматок грязи, лейкопластырь на бровь — и ты в порядке.

Вот в таком непрезентабельном виде я и предстал пред светлы очи Пенькова.

— Вы кто? — спросил он, подозрительно вглядываясь в марлевую морду.

Вопрос был правомочен — меня бы и мать родная не узнала в столь лицемерном обличье.

Взяв бумажку, я, изображая невероятное неудобство, написал свою фамилию.

Пеньков, как и следовало ожидать, начал закипать тульским самоваром. То есть с присвистом и медленно.

— Что за маскарад? — процедил он.

«Во время транспортировки попал в аварию. Сотрясение мозга и перелом челюсти», — написал я и горестно вздохнул.

— Что, так навернулся, что даже говорить не можешь?

Я мотнул головой. Пеньков расслабился и сел. На лице его воцарилось умиротворение.

— Ну наконец! — удовлетворенно сказал он. — Значит, все-таки есть Бог на свете.

И замурлыкал под нос какую-то незатейливую мелодию. По всему было видно, что таким я ему явно нравился. Но при этом чувствовалось, что если бы к моей проломленной голове добавилась бы, скажем, и оторванная снарядом нога, то тогда я бы понравился Пенькову еще больше.

Но об этом можно было только мечтать.

А посему, оглядев меня и удовлетворившись уже окончательно, что Бог все-таки есть, он вынул из сейфа документы и со словами «Чтобы глаза мои больше тебя не видели!» бросил их на стол. Я отдал честь и вышел. Точнее, выбежал.

Я рванул в Дом офицеров, где меня уже поджидала заготовленная заранее гражданская одежда, и, забравшись в душ, яростно отдирал промышленной мочалкой два въевшихся в тело армейских года.

А через часик, в модном прикиде, хорошо пахнущий и кокетливо потряхивающий шелковистыми кудрями, я вновь постучался в пеньковскую дверь.

И снова Пеньков не узнал меня.

— Вам кого? — несколько ошарашенно спросил он, увидев столь необычно одетого посетителя в служебное время в воинском учреждении.

Я был настроен дружелюбно.

— Буду богатым,— сказал я, вынимая из дипломата колбаску, сырок, хлебушек и литровую бутылку портвейного вина.

Сначала Пенькову показалось, что ему мерещится. Он даже мотнул головой, как бы говоря: «Свят, свят, свят!» — но потом сквозь дорогое пальто, лихие усы и шопеновскую прическу он явно начал замечать некоторое сходство с той марлевой мумией, которой он чуть более часа назад сам, своими собственными руками отдал военный билет.

Эффект узнавания стоил дорогого. Недаром все-таки я выкинул на прощание этот опасный фортель. Пенькову стало так обидно за себя, что даже злость улетучилась.

— Ну ты и гнида! — только и смог сказать он.— Какая же ты гнида!

— Стаканчики есть? — спросил я, нарезая по-хозяйски закуску.

— В сейфе! — как из гроба прозвучал ответ.

Первый стакан мы выпили молча. Второй тоже.

Потом Пенькова прорвало.

— Ты думаешь, я не понимаю? — вдруг заговорил он.— Думаешь, я не понимаю, о чем ты думаешь? «Я личность, а этот офицеришка поганый — жлоб армейский!» Что, скажи, не думаешь?

Я пожал плечами, не желая разрушать наметившуюся было интимность встречи.

— Молчишь? — обижался Пеньков.— Молчишь, всякую мутоту про меня думаешь. А что ты про меня знаешь? Встаю в пять утра, ложусь в двенадцать,— бил себя в грудь старлей.— А знаешь, когда я со своей бабой последний раз спал? Знаешь?

Я налил Пенькову остаток. Он жадно выпил. Вытащил из сейфа коньяк, разлил по стаканам, громыхнул его и, с какой-то жгучей тоской, огляделся по сторонам.

— Пошли в буфет, Саша,— сказал я.

В буфете мы застряли надолго, количество пустых бутылок на нашем столе увеличивалось с какой-то необыкновенной быстротой.

Я выслушивал пеньковские обиды, потом выкладывал ему свои. А потом мы опять пили, и все начиналось сначала. И думалось мне: «Хорошо, что я тогда не заложил его Насырову». Последнее, что я помню,— это стремительно надвигающуюся на меня тарелку с винегретом, из которой я и поднял голову, проснувшись.



ГЛАВА 18,



**В которой рассказывается
о простом гении,
которых у нас миллионы**

Кто он? Профессор, академик, член-корреспондент и просто член всех имеющихся в мире научных обществ, занесен в российскую Книгу рекордов Гиннесса как уникальный изобретатель и в десяток энциклопедий, писатель, драматург, «выдающийся человек XX века», лауреат Нобелевской премии, а также автор монологов и миниатюр, исполняемых самим Аркадием Райкиным. Все это один человек – Веня Сквирский. В истории человечества я знаю только одну равную ему по значимости фигуру. Это великий Леонардо да Винчи, и я с ужасом думаю о том, как может пострадать авторитет средневекового титана, если Веня вдруг вздумает взяться и за кисть?! Все! Хана памяти величайшего творца. Ну да бог с ним.

Теперь непосредственно о нашей первой встрече.

Шел 1973 год. Кишинев. Для меня до сих пор остается загадкой, по какому такому недоразумению Кишинев в семидесятые считался столицей именно Молдавии? Дело в том, что в те счастливые советские годы встретить на улице столицы живого молдаванина – встретить так, чтобы его можно было остановить, потрогать, пощупать, так сказать, «помацать», – было практически невозможно. То есть в принципе-то все мы знали, что где-то тут, рядом, эти таинственные люди существуют, причем не виртуально, а осязаемо, но вот где? Этого никто не знал, ибо в этом пьяном зеленом городе они никак не могли четко обрисоваться. Причем как практически, так и теоретически. Разовьем эту мысль поконкретнее: молдаванин как сущность, как живая единица не мог туда просочиться при всем желании в результате того, что все кишиневское пространство от самого что ни на есть центра и кончая самой захудалой окраиной было забито, я бы даже сказал, зава-

лено евреями. Это было просто какое-то страшное еврейское нашествие, по сравнению с которым, скажем, такое бедствие, как нашествие саранчи, может показаться невинной детской забавой. Евреи были везде. Заверни за любой угол, да что там угол, загляни в любую самую незаметную трещинку — и ты непременно обнаружишь там кого? Конечно, еврея! Причем не просто какого-то единичного еврея, а еврея, обремененного папой, мамой, тещей, детьми, бабушками, дедушками, тетками и дядьками, четвероногими домашними животными на веревке и еще черт знает чем. Все эти многочисленные родичи в свое время проездом из Бердичева в Жмеринку так, по-родственному, заскакивали сюда на недельку погостить, но почему-то по совершенно невыясненным причинам остались здесь навсегда. Летом вся эта животворная масса лениво выплывала на центральную улицу и фланировала по несколько часов кряду, разбрызгивая вокруг себя оптимизм и шелуху от семечек, то есть «семучек» — так в Кишиневе правильнее. Закончив фланирование, праздная толпа расходилась кто куда. Кто домой, кто в гости, кто в ресторан, но чаще всего на Комсомольское озеро, где на пологом озерном берегу возвышался огромный, аж на шесть тысяч мест Зеленый театр. Однажды эта веселая толпа занесла туда и меня. Одетый в недорогой, но по-хорошему засаленный костюмчик, толстенький аппетитный конференсье произнес, лукаво подмигивая: «Писатель-сатирик Вениамин Сквирский». Зал одобрительно загудел и крикнул. Ну, во-первых, потому, что сатирик, а раз сатирик, значит, он каким-то легким намеком, неуловимой интонацией, хошь не хошь, а советскую власть уж точно обогрел. Профессия обязывает. А во-вторых, этот искушенный коварный зал сразу же раскусил в созвучии — Вениамин Сквирский — что-то родное, свое. И понеслось от первого ряда до последнего этакой легкокрылой бабочкой: «Вениамин Сквирский, вы слышали?! Вениамин — это же чисто еврейское имя, а про фамилию и нечего говорить! Сто процентов!»

Вы понимаете, что это означало для кишиневцев? А это означало, что сейчас будет обсирать советскую власть не какой-то славянский имярек, а сатирик-еврей! Для них это было не просто удовольствие, это было невероятное удовольствие, как все равно что пожрать свиной тушенки в Шаббат! И надо сказать, что Веня не только оправдал их ожидания, но и заметно превзошел их. Он вбивал в широкую спину социализма гвозди такой величины, что ни одна другая спина такого не выдержала бы. Зал застонал от восторга, буквально физически ощущая пряный запах свободы. Свобода, конечно, эта была кажущаяся, эфемерная, но все равно быть участником этой мимолетной расправы над ненавистным режимом, ощущать эту возможность даже исподтишка было упоительно, а самое главное — неожиданно. До этого момента кем он для них был? Этот разоблачитель? Какой-то там неизвестный писака. Некий довесок на блеклой афише, написанный малюсенькими буквами. И вдруг тут такое! Понятно, что после только что произведенного этим человеком фейерверка я, еще не признанное на эстраде нечто, перманентно находящееся в абсолютном творческом дерьме, робко направил свои стопы сорок пятого размера к только что оттремевшему на эстраде Сквирскому как к моему возможному спасителю. Я сказал ему: «Веня, не дай усохнуть скромному таланту!» И Веня, еще не опомнившийся от только что испытанного экстаза еврейской толпы, еще находящийся внутри собственного экстаза, широким жестом вытащил хрен знает откуда два засаленных листка и божеским гласом сказал мне: «Возьми это, юноша, и дерзай!» Сказал и растворился в воздухе, как легкое облако, как призрак, как фея цветов в «Щелкунчике». Дрожащими руками я взял этот щедрый дар и благодаря этим двум, как я уже сказал, замурзанным, зачитанным, засаленным листочкам вся моя жизнь пошла в совершенно другую, но уже нужную мне сторону. И стал я тем, чем имею честь сейчас и быть.

ГЛАВА 19,



**В которой я наконец
знакомлюсь с будущей женой**

Дождь и слякоть сопровождали мою первую послеармейскую гастроль. Отслужив, я поехал домой, в Кишинев. Отогреться и прийти в себя. Безо всякого труда я был принят на работу в местную филармонию, в ансамбль с лучистым названием «Зымбет», что в переводе означало «Улыбка».

Когда открывался занавес, перед глазами зрителей представляла группа явно пьющих мужиков с почему-то музыкальными инструментами. Мужики широко щерились, демонстрируя свои полусгнившие челюсти, словно оправдывая название ансамбля и давая понять, что уж чего-чего, а улыбок сегодня будет больше чем достаточно.

После верблюжьего поклона они врубали свои децибелы и киловатты и, не забывая при этом щериться, запевали звонкую песнь о невероятно счастливой доле молдавского народа, живущего бок о бок с четырнадцатью не менее осчастливленными соседями.

Затем на сцене появлялся я. Очевидно, уже как апофеоз счастья.

В расшитой цыганской жилетке и вдетых в сапоги среднеазиатских шальварах я должен был олицетворять собой обаятельного русскоговорящего молдаванина, эдакого рубаху-парня, без зазрения совести комплиментирующего своей державе, но, очевидно, было в моем облике что-то такое, что заставляло публику сомневаться в чистоте моих намерений. Что-то мешало ей воспринимать меня как символ обновленной республики.

— Нам пятьдесят! — бодро начинал я, стараясь не замечать некоторого недоумения, идущего из зала.— Бывшей заброшенной бессарабской колонии уже пятьдесят! Какой прекрасный возраст! Возраст зрелости! Когда все прекрасное еще впереди, а все ужасное уже позади!

И так далее! На профессиональном языке литераторов подобная хренотень почтительно называлась позитивным фельетоном.

Кто их писал — оставалось загадкой, но как-то случай свел меня с одним из них.

Он сидел в сталинских лагерях двадцать лет, и я долго не мог понять, что же заставляло его сочинять эту суррогатную шелуху.

А потом понял. Сам факт выхода на свободу настолько подействовал на его пораженное лагерями воображение, что он чувствовал себя перед властями в неоплатном долгу.

Звали его Матвей Исаакович, и он очень гордился своими опусами, искренне считая все им написанное вершиной мировой литературы.

— Я прочту вам сначала текст, который я написал специально на открытие Саяно-Шушенской ГЭС. Вы не возражаете? — спросил он, с замиранием сердца и завистью представляя себе то удовольствие, которое мне неминуемо предстоит получить от предстоящего прослушивания, и, не дожидаясь моего ответа, загнусавил, раскачиваясь, как на молитве: — Когда царские викормыши по-хозяйски отравили Владимира Ильича в ссылку, то он добирался до Шушенского долгих четыре месяца. Сегодня же... — он сделал паузу и победоносно посмотрел на меня, — сегодня же бистрокрылый лайнер Ту-154 домчал бы его туда всего за пять часов!

На лице его сияла такая неподдельная гордость, что возникало ощущение, что не Ту-154, а именно он, Матвей

Исаакович, на собственных плечах и не по просьбе тайной полиции и Николая II, а по своей личной инициативе доставил Ильича в указанное охранкой место.

Потом Матвей Исаакович читал и про трубы, которые «дымами фабричными машутся» (цитата), и про речку Тобол, «которой вы не найдете ни на одной карте мира, но которая, тем не менее, широко растекается по глобусу истории русской революции» (опять цитата).

Но все это меркло перед светлым образом Ильича, мчащегося в ссылку на реактивном самолете.

Однако вернемся к моему выступлению.

Если первое отделение я открывал, представляясь эдаким добродушным, ироничным, гостеприимным бессарабцем, то во втором выходил в цивильном костюме и читал монологи, что нравилось мне значительно больше, хотя КПД был таким же.

Декабрь расплзся по зиме подтянутыми льдом лужами, что, впрочем, никак не сказывалось на нашей поездке.

Если бы незабвенный Матвей Исаакович удосужился побывать в Славянске, то он бы обязательно с пафосом написал, что этот город «широко растекся по глобусу отечественной химии необыкновенно ядреным и сбивающим с ног запахом дерьма».

Я бывал во многих вонючих городах, но этот по своей вонючести побивал все рекорды.

— Чем вы здесь дышите? — пораженно спрашивал я аборигенов.

— А вы? — резонно отвечали они.

Никогда бы не подумал, что в столь клоачном местечке можно повстречать подругу жизни, однако именно это и произошло.

Она сидела в первом ряду, и ее кофточка ярко фосфоресцировала на фоне серого зала. Я бодро рапортовал

позитивную шелупонь и уже добрался до флагмана молдавской индустрии — тираспольского пищевого комбината.

— Вдумайтесь только в эти цифры,— оптимистично вещал я,— одних только помидоров комбинат выпускает до двухсот тысяч банок в день. Не говоря уже про огурцы! Трудно найти на карте место, куда бы не поступала его продукция. Это и Прибалтика, и Белоруссия, и даже Каракалпакия.

На слове «Каракалпакия» я обычно делал ударение, давая понять, что кому-кому, а уж такой изнеженной нации, как каракалпаки, так просто не угодишь.

В этот момент я и встретился с ней глазами и сразу почувствовал, что судьба тираспольского пищегиганта стала мне глубоко безразлична.

Думалось об одном — как познакомиться.

Костюмершей у нас работала некая Анька по кличке Пулеметчица. Тихого омута ее сознания не потревожило ни среднее, ни даже начальное образование.

Анька была на редкость тупа.

Однако обращаться в сугубо мужском коллективе с такой деликатной просьбой было абсолютно не к кому, а посему в антракте я подвел Аньку к занавесу, нашел в нем отверстие и, впихнув в это отверстие Анькину физиономию, прошептал:

— Видишь, в первом ряду сидит девушка, волосы в пучок, в руках книжка?

— Ну? — буркнула Анька.

— Подойди к ней и скажи, что, когда начнется второе отделение и откроется занавес, на сцену выйдет тот, кто хочет с ней познакомиться...

— И шо?

Все-таки она была законченной кретинкой.

— Да ни шо! Просто попросишь ее подождать, когда все закончится. Запомнила?

— Ага,— кивнула Анька и закатила страдальчески глаза, очевидно, прося у люстры дать ей силы, чтобы не расплеснуть по дороге вверенную ей ценную информацию.

Выйдя на сцену, я старался, как никогда. Но все напрасно. Выбранная мною девушка не только не обращала на меня никакого внимания, а наоборот — вглядывалась куда-то вглубь, явно кого-то ища и, что обидно, явно не меня.

— Анька,— спросил я, уйдя под очередные жиденькие аплодисменты,— что ты ей вякнула? Она же в мою сторону даже не посмотрела!

— А шо такое? — всполошилась Анька.— Чуть шо, так сразу Анька как будто виновная! Нишо я не такого не сказала. Как ты сказал, так я и сказала. Сказала, шо тот, кто откроет занавес, хочет познакомиться. И чтобы она его подождала. Вот шо я сказала. А она сказала: «Хорошо». Больше я ничего не сказала.

Мне стала понятна природа тревожного взгляда, устремленного за кулисы. Она искала таинственного носителя загадочной профессии открывальщика занавесов. Я дождался конца концерта и перехватил незнакомку у самого выхода.

— Что вам угодно? — спросила она, обдав меня Гренландией.

— Видите ли,— сказал я, стараясь выглядеть предельно тактичным,— мне сдается, что вас неправильно проинформировали.

Далее я понес абсолютную лабуду, разобраться в которой было невозможно ни практически, ни теоретически.

— Дело в том,— вешал я лапшу,— что наша заведующая костюмерным цехом неправильно истолковала и даже исказила все то, что я просил довести до вашего

сведения, и, говоря о субъекте, открывающем занавес, она имела в виду не работника, открывающего занавес элементарным поворотом ручки, а наоборот – того, кто как бы своим выходом на сцену символизирует открытие этого занавеса. А поскольку этим субъектом был я, то мне показалось, что вы, как девушка, несомненно, логически мыслящая, сопоставив все эти факты, легко бы пришли к заключению, что костюмерша имела в виду не некое эфемерное существо, формально выполняющее механическую функцию, а мою личность как таковую.

Еле выпутавшись из этого, безусловно, сложносочиненного предложения, я почувствовал:

- а) тоску и опустошение;
- б) желание выпить.

– Вы сами-то поняли, что сказали? – спросила девушка.

– Не-а! – признался я.

В кармане доживала последние часы потрепанная, много повидавшая на своем веку пятерка. Тем не менее, чтобы не ударить в грязь лицом, я пригласил девушку в ресторан, где мы наконец и познакомились.

– Шампанского? – развязно спросил я, тревожно прощупывая карман, дабы лишний раз убедиться в наличии незабвенной пятерочки.

– Пожалуй, нет, – деликатно отказалась девушка Ира.

– Но почему же? – переспросил я, радостно предчувствуя, что без шампанского, быть может, смогу уложиться.

– Я, пожалуй, коньяка выпью. Чтобы напряжение снять, – томно произнесла она.

– Ну, коньячку так коньячку! Пожалуй, и я тогда коньячку, – гаркнул я, а про себя подумал: «А и хрен с ним! Будь что будет!»

А было: борщ украинский — 2, салат «оливье» — 2, котлета по-киевски — 2, десерт — 2, коньяк — 300 г! Итого — десять рублей ровно.

— Секундочку! — проникновенно сказал я официанту.— Секундочку! — и большим и указательным пальцами изобразил малость и ничтожность этой секундочки.

Тот, почувствовав неладное, отошел. Ира тоже почувствовала.

— Денег нет? — спросила она.

— Ну не то чтобы совсем нет,— бодрился я,— кое-что есть, конечно. Но рублей семь-восемь не помешали бы. Вечером отдам, честное слово.

— Ну о чем вы говорите,— смутилась Ира и вытащила из сумочки глянцевого червонец. Не чета моей потаскухе — пятачке.

Еще долго и довольно часто приходилось ей потом заглядывать в заветную сумочку. Даже в торжественный день подачи заявления.

— Ну вот! — сказала делопроизводительница загса, приятная женщина с лицом Малюты Скуратова.— Свадьба ваша через три недели. С вас рубль пятьдесят.

— Сколько-сколько? — неприятно удивился я.— Это ж грабеж какой-то! Что вы себе тут позволяете? Приходит человек вступать в законный брак, настроен на положительные эмоции, готовит себя к многолетнему супружеству, и так, можно сказать, весь на нервах, а тут на тебе — рубль пятьдесят! — не мог остановиться я.

— Успокойся, дорогой,— мягко, но с достоинством произнесла моя будущая супруга и поистине царским жестом подала делопроизводительнице указанную сумму.

Мне показалось, что в этот момент уверенность Ирины в правильном выборе спутника жизни несколько пошатнулась. К счастью, мне это только показалось.

— Мне приснился странный сон,— сказала она, выйдя из загса.— Будто встает огромное золотое солнце и говорит: «Скоро ты выйдешь замуж. Может, он невзрачен, неказист и нескладен, твой суженый, но ты будешь счастлива с этим уродом».

Согласитесь — после подобной рекомендации со стороны светила отказать девушке в таком пустяке, как замужество, было бы просто неприлично.

Вскоре я, нервный и ослабший от суточной тряски в поезде, прибыл в Ленинград на предмет знакомства с будущей тещей. Тесть был не в счет, поскольку погодой в доме правила именно она. Понимая всю важность первого рандеву, мне очень хотелось произвести приятное впечатление, и уж не знаю, как там насчет приятности, но то, что впечатление на нее я произвел необыкновенное,— это точно.

Будущая теща усадила меня за стол, и между нами началась неторопливая беседа. Коллоквиум, так сказать. А точнее, проверка на вшивость.

Чтобы разговор шел свободно и легко, я старался вести себя более непринужденно, чем этого требовали обстоятельства, но, очевидно, мои представления об этом деликатном предмете никоим образом не совпадали с представлениями Ириной родительницы. И когда непринужденность, как мне казалось, уже достигла своего апогея, мама, извинившись, вышла на кухню и сухо сказала:

— Дочка, по-моему, он пристрастен к вину!

Так и сказала: «Пристрастен». Не полкан подзаборный, не бормотушник... Нет! «Пристрастен»!

— А то, что он еврей, тебя не пугает? — дипломатично спросила Ира.

— Ну что же поделаешь, дочка! — вздохнув, откликнулась маманя.— Одним больше, одним меньше.

Дело в том, что и старшая дочь была замужем за евреем. Прямо как проклятие какое-то висело над их семьей. Когда спустя год мы привезли из роддома новорожденного Дениску, теща погладила малыша по голове и грустно констатировала:

— Надо же, какая тяжелая наследственность у этой крошки.

— Не волнуйтесь, дорогая,— сказал я,— когда мальчик вырастет, он у нас обязательно будет русским. Это я вам гарантирую. Я из него сделаю русского, хочет он этого или нет.

— По паспорту, может, и будет,— продолжала грустить теща,— а вот по сути?

Я почувствовал себя глубоко виновным в трагическом будущем ребенка и дал слово воспитать его так, чтобы в национальной принадлежности мальчика никто не усомнился. Я покупал ему картинки с русскими пейзажами, читал сказку «Теремок» и разучивал с ним наизусть «Дубинушку». Все мимо. Мальчик никак не отрывался от семитских генов, хоть и был похож скорее на маленького араба, чем на то, что ему инкриминировали взрослые. Да что там взрослые? Однажды он спросил:

— Папа, а почему детки в садике меня ливрейчиком называют?

Не знаешь, как и ответить,— такие дети задают вопросы каверзные.

Один мой приятель как-то сказал после третьего стакана:

— Я вообще, Илюха, не понимаю, какая разница, кто ты? Если бы я был президентом, я бы ввел новые паспорта без всяких национальностей. Пункт первый — имя, пункт второй — фамилия, пункт третий — год рождения, пункт четвертый — гражданство, пункт пятый — еврей, не еврей — нужно подчеркнуть.

Философ был.

Много лет назад поехали мы с Володей Винокуром за рубеж. В ГДР. Перед войсками выступать. В те незабвенные времена зарубежье для советского человека всегда начиналось в ГДР и ею же заканчивалось. Все, что находилось за кордоном ГДР, — это уже была не заграница. Это уже было нечто недосыгаемое. Как космос. Я вообще в детстве думал, что всяки там парижы, лондоны, нью-йорки — это несуществующие города, выдуманные капиталистическими философами специально для того, чтобы нам, совкам, мозги запудрить.

Так вот, в этой самой замечательной поездке сопровождал нас стукач (или сурок, как его еще называли) Евгений Иванович Ухин. Невероятно сизо-красный нос Евгения Ивановича не позволял усомниться, какой род занятий был ему больше всего по сердцу. Да, он любил выпить. По этой же причине обожал послеконцертные банкеты с местным дивизионным или гарнизонным начальством. Для этого дела у него даже был заготовлен лаконичный, но емкий тост.

— Выпьем, друзья, за великий союз. Союз армии и искусства! — важно говаривал он, после чего с сознанием выполненного долга самоотверженно брался за бутылку и через полчаса валился под стол.

На одном из таких банкетов сидевший рядом с Ухиным начальник Дома офицеров спросил:

— Слушай, а Винокур кто у нас по пятой графе? Больно уж отчество у него нечеловеческое — Натанович!

Начальник угодил в самое больное место. Евгений Иванович в момент суксился и, поковыряв вилкой яйцо под майонезом, угрюмо произнес:

— Ой, вабшэ в этом смысле очень сложный кулектив.

Евгений Иванович был прав — «кулектив» в этом смысле действительно был непростой.

Судите сами: директор Верткин, звукооператор Грановкер, артист Бронштейн, автор Хаит, режиссер Левенбук, и на самом верху этой пархатой пирамиды сверкал рубиновой шестиконечной звездочкой сам Винокур со своим режущим слух отчеством. Но вскоре Ухина у нас отобрали. Случилось это печальное событие во время встречи в советском посольстве в Берлине, где кроме самих работников посольства и нас, актеров, присутствовало достаточное количество немецкого начальства. К концу мероприятия Евгений Иванович так растрогался, что поцеловал в щеку стоявшего близ него ненашего генерала и изрек из себя фразу, ставшую потом исторической: «Господа, господин посол, господа офицеры, выпьем за наших дорогих немецко-фашистских товарищей. Дай Бог им счастья». Бог дал счастья немецко-фашистским товарищам, зато бедный Ухин лишился его навсегда.

Вообще, винокуровское отчество часто выкидывало всякие фортели. В одном из городов ко мне подошел директор Дома культуры и сказал:

— Вот, хотим после концерта Володе грамоту вручить. Какое у него полное ФИО?

— Винокур Владимир Натанович,— как на допросе, признался я.

— Как, говоришь, полностью? — переспросил он, очевидно решив, что ослышался.

— Вла-ди-мир На-та-но-вич! — медленно, по слогам разъяснил я по новой.

— Угу-угу! — как-то скомканно сказал он и второпях убежал.

По всему было видно: что-то не укладывалось в его директорской голове. Ну как же, действительно? Народный артист России, и вдруг Натанович. Нонсенс какой-то, прямо скажем. И когда смолкли последние овации, ди-

ректор, взгромоздившись на сцену, обратился к публике со следующими словами:

– Товарищи зрители! Культура – это великая сила! И позвольте мне от лица руководства вручить почетную грамоту знамени нашей культуры всеобщему любимцу Винокуру! Владимиру Потаповичу!!!

Но я отвлекся.

Итак, женитьба. Вся она была окрашена в черные тона финансового кризиса.

– Папа, – сказал я, позвонив домой, – я женюсь.

– Опять? – переспросил папа.

– Да!

– Поздравляю! Но денег не дам! – отрезал папа, настолько привыкший к моим мимолетным бракам, что и этот воспринял не как последний, а как очередной.

Однако теща была настроена более миролюбиво:

– Дочка у меня выходит замуж один раз, и пусть все будет как у людей. Сдам в ломбард все до последней нитки, но свадьба состоится.

И свадьба состоялась.

Обстановка была настолько мрачной, что, оказавшись на ней случайный гость, он бы непременно решил, что по ошибке заглянул не в тот зал и попал не на семейное торжество, а напротив – на событие чрезвычайной печальности. Единственное, что радовало, – это груда бумажных свертков, небрежно сваленных в кучу. С нетерпением дождавшись окончания застолья, я ринулся к подношениям и лихорадочно начал их разворачивать. И вновь разочарование – самыми богатыми подарками оказались хлопчатобумажные индийские носки и медные запонки. Церемония закончилась, и все быстро разошлись по домам. А наутро... мне назначили худсовет.

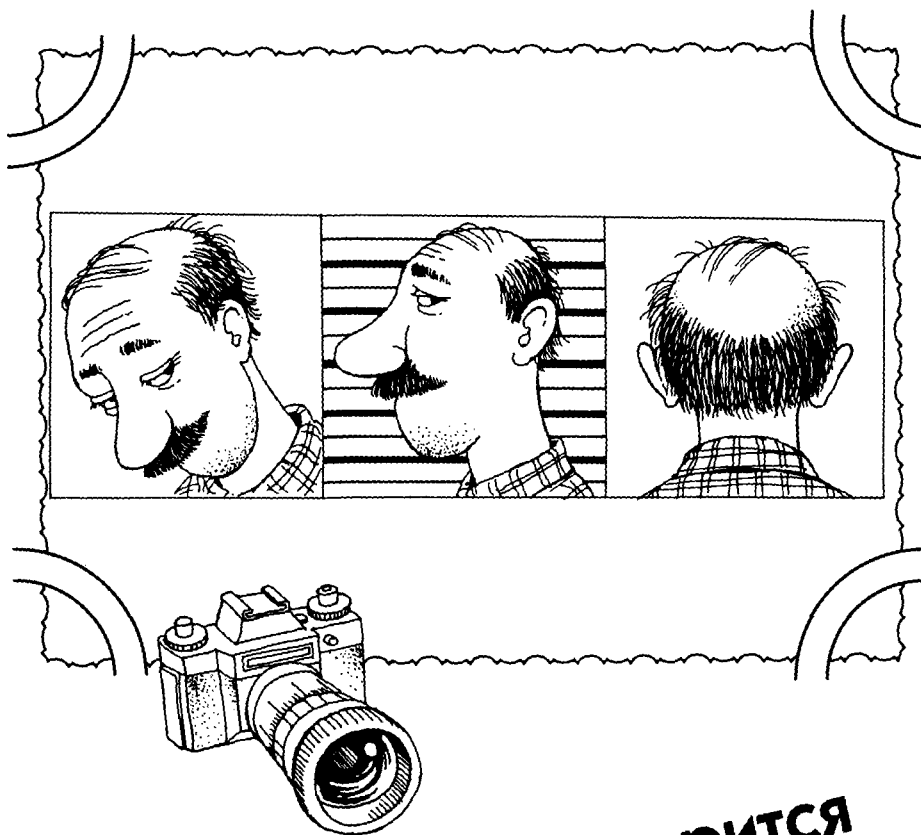
Дело в том, что за несколько дней до обручения я был принят в Ленконцерт. И вот меня вызывают.

Худсовет ассоциировался в моем сознании с чистилищем, и я боялся его, как таракан дихлофоса. Примерно за час до начала экзекуции организм начал сдавать. По телу побежал легкий озноб, сменившийся обильным потоотделением, а то, в свою очередь, — слабостью в желудке. Выйдя на сцену, я обратил свой потухший взор к залу и, увидев в нем десять пар холодных худсоветовских глаз, понял, что провал неминуем. Интуиция не подвела.

Сначала хотели уволить, но потом кто-то вспомнил, что у меня молодая жена на сносях, и мне милостиво подарили три месяца для того, чтобы доказать свое право на место под солнцем.



ГЛАВА 20,



**В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ
ОБ ИЗНАНКЕ
АКТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ**

Существует на эстраде вульгарное такое словечко «чѐс». Производное от глагола «чесать». То есть сыграть за минимальное количество дней максимальное количество концертов. Понятно, что популярные артисты не шатались по чесам. Они честно рубили капусту, сидя в Москве или Ленинграде, а вот безвестная шушера вроде меня вынуждена была в поисках пропитания выезжать на село, где эти самые чесы и практиковались. Два-три вокалиста, жонглер, фокусник, акробатка (чаще всего, беременная), ансамблик и, конечно, ведущий. Мы называли такие бригады «чулок, п...а и карандаш». Именно с такой бригадой мне повезло съездить в свою первую чесовую поездку. Командовал парадом Яков Исидорыч Кипренский. Яков Исидорыч всем был хорош, но имел один существенный недостаток — длинный язык. Время от времени он ляпал на сцене что-то такое, после чего ленконцертному руководству долго и нудно приходилось объяснять обкому, что «Кипренский имел в виду не политический наговор, как показалось, а совсем другое, и что по сути своей он патриот и абсолютно преданный режиму гражданин». Обком неохотно прощал, но неумолимый Яков Исидорыч не давал себе подолгу расслабляться и достаточно скоро попадал в следующий переplet. Последней каплей, доконавшей и обком, и Кипренского, стал концерт, проходивший в закрытом институте. Актный зал был заполнен до отказа, и по нему жаркими волнами разливалась духота. Часть зрителей, спасаясь от нехватки воздуха, открыла двери и встала рядом с портретами руководителей всех союзных респу-

блик, висевших на стене напротив. Яков Исидорыч в это время находился на сцене и, увидев такую живописную картину, хотел было промолчать, но не смог. Мерзкий язык взял вверх, и Кипренский, внутренне понимая, что скандал обеспечен, но уже не в силах себя остановить, обратился к группе, стоящей рядом с портретами:

— Дорогие мои, что вы там застряли? Идите к нам. У них своя компания, у нас — своя!

Такой вольности обком стерпеть был не в силах. Кипренскому разрешили работать за пределами города, но категорически не в нем самом. После этого ему оставалась одна дорога — на чес, в деревню. С ним любили ездить все, так как основной чесовый постулат — меньше дней, больше концертов — Кипренский проводил в жизнь как никто другой. Делалось это просто. Прибывая на место назначения, он сразу же направлялся в районное отделение культуры и с места в карьер принимался пудрить мозги местному начальнику.

— Видите ли,— по-приятельски начинал он,— партия доверила нам великое дело — нести культуру на село. Согласитесь, вопрос немаловажный?

Начальник, не понимая, куда клонит Кипренский, но ориентируясь на возвышенную интонацию, как правило, соглашался с этим неопровержимым тезисом. Дождавшись одобрительного кивка, Яков Исидорыч переходил к следующему пункту.

— Давайте посчитаем,— говорил он,— во сколько обходится эта высокая миссия нашему трудовому государству.

— Давайте-давайте! — выказывал живейший интерес начальник.

— Мы в течение одного месяца должны сыграть шестьдесят концертов. То есть по два концерта в день. Вы следите за мыслью? — неожиданно прервав диалог, строго спрашивал Кипренский.

— Я следю, не волнуйтесь!

— Очень хорошо! Едем дальше! В бригаде десять человек, каждому из которых положены суточные в размере двух рублей шестидесяти копеек в день. Десять множим на два шестьдесят — итого получаем двадцать шесть рублей. Казалось бы, мелочь, не так ли? Да просто ерунда! Но в месяц-то набегает семьсот восемьдесят!!! — восклицал Кипренский и аж подпрыгивал. Прыжок пожилого человека обычно производил очень сильное впечатление.

— Не может быть! — всплескивал руками от нахлынувшего возмущения чиновник.— Это же просто безобразие!

— Да что там безобразие! — накалял обстановку Яков Исидорыч.— Не безобразие это! Разбой среди бела дня! Просто раздеваем страну на глазах у всего мира. Обдираем ее.

— Что же это делается такое? — сокрушался босс, оглушенный рассказом о колоссальных убытках, нанесенных государству достаточно скромными, на первый взгляд, артистическими суточными.— И где же выход?

Вот тут-то и наступала развязка.

— Выход есть! — торжественным тоном спасителя провозглашал Кипренский.

— Да что вы говорите? Ну и какой же? — вскидывался начальник, уже потерявший всякую надежду на спасение отечественной экономики.

— Элементарный! Если мы сыграем наши шестьдесят концертов не за месяц, как запланировано, а, скажем, дней за пятнадцать, то мы уже имеем прибыль не менее трехсот девяноста рублей. А если добавить туда же еще и расходы на проживание в отелях (тут он делал начальнику явный комплимент, потому что та срань, в которой мы жили, с трудом тянула даже на хижину дяди Тома), то в таком случае мы вообще сэкономим тыщонки полторы. Согласитесь, денежки немалые!

— Ну не могу же я, в самом деле, в гостиницу вас бесплатно заселить. От меня-то что зависит? — недоумевал начальник.

— Очень многое! — выходил на финишную прямую Яков Исидорыч.— Если вы дадите разрешение на проведение в районе не двух концертов в день, как записано в нашем маршрутном листе, а как минимум четырех — Минфин скажет вам спасибо. Это я вам ответственно заявляю.

— И все?

— И все!

Начальник облегченно вздыхал и, радуясь тому, что все так замечательно завершилось, подписывал подобное (кстати, категорически запрещенное тем же Минфином) разрешение, искренне полагая, что тем самым действительно поддержал чуть было не пошатнувшееся из-за такой ерунды материальное благополучие родной державы. По окончании церемонии Кипренский, долго не отпуская, мял начальственную ладошку, преданно смотрел в глаза и приглашал на концерт. Начальник обещался непременно заглянуть и, как правило, не приходил. Но Кипренскому это уже было глубоко безразлично — заветное разрешение приятно согрело карман. Однако в нашей поездке отработанный прием чуть было не дал сбой. Секретарем по культуре оказалась женщина. Такая типично партийная дама. Губки бритвочкой, мужская стрижка и черный двубортный костюм. Сжав свои змеиные губки, она сухо выслушала краткий социологический обзор и дала разрешение. Кипренский прижался мясистым ртом к партийной ручке и привычно пригласил на концерт. А дама ему:

— А я слышала, что вы халтуру привезли.

На что Яков Исидорыч, не давая ей опомниться, с легу отвечает:

— А я слышал, что вы живете с ассенизатором!

Попрощался и вышел. А вечером раздался звонок. Звонил партайгеноссе Ленконцерта. Тот самый, который ходил в обком просить за Кипренского чуть ли не ежемесячно.

— Яша,— спросил он,— это правда?

— Скажи, что именно, и я развею все твои беспочвенные сомнения! — несколько витиевато отозвался Яков Исидорыч.

— Да я про эту стерву из райкома. Правда? Ты что, действительно сказал, что она живет с ассенизатором?

— Откуда такая осведомленность? — поразился Кипренский.— Еще и дня не прошло!..

— Телефонограмма пришла,— вздохнул партайгеноссе. По всему чувствовалось, что он порядком устал от Яшиных выходок, но предать не мог. Во-первых, он был порядочным человеком, а во-вторых, много лет назад они с Яшей вместе учились.— Она ж не просто секретарь по идеологии, что само по себе не подарок,— грустил он в телефонную трубку,— она же еще и депутат, сучка эта. Из обкома звонок был... Возмущаются. Как можно, говорят, депутата Верховного Совета оскорблять тем, что она якобы живет с ассенизатором! Это же, говорят, дискредитация власти!

— Ну,— пошел в атаку Яков Исидорыч,— честно признаться, я не понимаю, что плохого в том, что человек живет с ассенизатором. Такая же профессия, как и все остальные. Живет себе и живет! Пусть радуется, что так повезло. Я лично знаю сотни женщин, которые почли бы за счастье найти какого-нибудь завалящего ассенизатора, да ведь нету. Нету! Дефицит, можно сказать. И потом, она же не дала мне досказать.

— Что не дала досказать? — чуть ли не завыл партийный товарищ.

— Она не дала мне досказать,— тоном заговорщика зашептал Кипренский,— что она живет не просто с каким-то там безвестным ассенизатором, а с ассенизатором — Героем Соцтруда, почетным гражданином Нижнего Тагила и трижды орденосцем ордена Ленина!!! — И выдохнул воздух.

А студенческий друг, наоборот, едва не задохнулся от подобной лжи.

— Яша,— попросил он чуть не плача,— я тебя умоляю, заткни свой поганый рот раз и навсегда. Тебе ведь всего полгода до пенсии осталось! Чтоб в последний раз!

— В последний-последний! — согласился Кипренский.

На следующий день мы давали концерт в очередной дыре, в ДК которой проходил комсомольский слет. Комсомольцы к своему слету отнеслись серьезно. И оцепили весь палац культуры дружинниками. Когда мы подъехали, у служебного входа нас встретили два мордovorота с отнюдь не комсомольскими фейсами.

— Мандаты! — сурово произнесли они и протянули свои мохнатые лапы.

Кипренский вскинул на них свои пожилые глаза и удрученно спросил:

— А почему сразу на «ты»?

Мордovorоты застыли в недоумении и находились в этом состоянии несколько минут.

А на самом концерте, представляя инструментальный ансамбль, объявил:

— У рояля Вадим Шпaргель, ударник — Михаил Тургель, гитара — Иван Соколов.— Помялся секунду, помучился и залепил: — Почти русская тройка!

Неисправимый был человек.

Шел ливень. Дорогу развезло, и наш автобусик скальзывал с грейдера то влево, то вправо. Сидевшего на ящиках из-под реквизита Якова Исидорыча трясло, как в лихорадке, на каждой колдобине. На пятом часу езды, после очередного водительского маневра, Кипренский не выдержал и, обращаясь в никуда, сумрачно произнес:

— Знаешь, почему у нас дороги такие плохие? Чтоб почки отбивали не только в КГБ!

А дождь все шел.

— До райцентра не доедем,— озабоченно сказал шофер.— Застрянем где-нибудь в такую гниль. Придется переночевать в ближайшей деревне.

Ближайшая деревня показалась километра через полтора. Бесконечный дождь наяривал без устали. Обернувшись, чтобы не промокнуть, в целлофан, мы, выйдя из автобуса, постучались в крайнюю избу. Дверь открыл заспанный мужик.

— Чего надо? — недружелюбно спросил он.

— Да нам переночевать бы! — попросился Кипренский.— Дождь, видите ли.

— Переночевать — это не ко мне...— хмуро отозвался мужик.— Переночевать — это к бабе Фросе. Третья изба справа. Туда и идите.— И захлопнул дверь.

Целлофановая делегация сиротливо потянулась в указанном направлении. Баба Фрося тоже спала. Это и понятно — ночь на дворе.

Стучались долго. Местные собаки изошлись лаем и слюной, пока мы яростным стуком пытались разбудить ветхую бабуленцию. Наконец за окошком вспыхнул свет, и после минутного шумового оформления в виде шарканья, харканья, кашлянья и пуканья заскрипел засов, и в проеме появилась наша спасительница. Кипренский кратко изложил ситуацию, и старуха уже было согласилась нас принять, но после успокаивающих слов Якова Исидорыча «Так что не волнуйтесь, мы не какие-то там залетные. Мы артисты из Ленинграда» резко передумала.

— Ах, так вы артисты! Не-е-е! У мене ужо тута перяночавали недалече артисъты из Москвы, усюю жилплощадь загадили-заблявали — не пушшу! — категорически отказала она.

Перспектива ночевки под проливным дождем, в неотопливаемой, дырявой «Кубани», вдвойне усилила энергию Кипренского. Он предпринял еще один наскок на бабушку, причем зашел с другой стороны. Он решил ее застыдить.

— Да как же вам не совестно, милая моя! — увещевал он старушку.— Как вообще можно сравнивать москонцертговскую гопоту, это бесцеремонное московское хамье, с нами — ленинградцами, за спинами которых стоят Растрелли, Фальконе и Эрмитаж. Только самая извращенная фантазия может проводить некие параллели между этими столичными фарисеями и нами — истинными носителями истинной культуры.

Восприняв страстный монолог Кипренского как бессмысленный набор ранее не слышанных букв и звуков, старуха подозрительно на него посмотрела и, решив, что с таким лучше не связываться, перекрестилась, махнула рукой и сказала:

— Ладно уж! Пушшай заходять, раз уж такая уфченья.

Мы ввалились в избу и разомлели от домашнего тепла. А отогревшись, почувствовали голод.

— Поесть бы чего, баба Фрося,— сказал кто-то.— Мы заплатим.

Баба Фрося молча вынесла из погреба банку сметаны, бутылку самогона и буханку черствого хлеба.

Наспех запив сметану самогоном и зажевав сие изысканное блюдо кусочком горбушки, мы улеглись спать.

В животе после съеденного нетактично заурчало. Вскоре одного из нас, а именно ксилофониста Солодовникова, тридцатилетнего холостяка с изячными манерами и прыщавым лицом, некая таинственная сила властно поманила в сортир. Странно, что его одного. Сказывались последствия ужина. Солодовников выглянул в открытое окно и ничего нового не увидел — за окном лил все тот же постылый дождь, а вождеденный сортир находился метрах в тридцати от дома. Никак не меньше. Солодовников томился двояким чувством — звериным желанием поскорее добраться до заветного очка и совершенной неохотой выбираться из теплого жилища по причине

темноты, непогоды и незнания местности. Сначала он попробовал переждать кризисный момент, но организм не захотел пойти ему навстречу. Скорее, наоборот — он явственно ощутил, что еще мгновение — и природа, не церемонясь с его тонким и трепетным восприятием жизни, властно возьмет свое, причем возьмет в таком количестве, что мало не покажется.

И тогда ничтоже сумняшеся Солодовников решился на сопротивляющийся всему его изычному воспитанию поступок. Стараясь не разбудить спящих коллег, он тихо-хонько вытащил из футляра ксилофона несколько газет, расстелил их осторожно в уголке, присел над ними задумчиво в позе роденовского «Мыслителя» и вскоре благополучно разрешился. А разрешившись, аккуратно, чтобы, не дай бог, не повредить края, собрал газеты с содержимым в мощное единое целое и, как хрустальную вазу, понес к окошку. Дойдя до окна, Солодовников вполне разумно решил, что баба Фрося будет неприятно удивлена, обнаружив поутру у самого окошка узелок с анонимными каловыми массажами. «Хорошо бы забросить это дело куда подальше!» — подумал он. А чтобы получилось подальше, надо бы размахнуться пошире, да вот незадача — размахнуться пошире мешал угол печки. Но ксилофонист Солодовников был, мерзавец, хитер и сообразителен — не зря, видать, закончил консерваторию с красным дипломом. Ох не зря!

Он отошел вглубь, туда, где ничто не могло помешать размаху, и, тщательно прицелившись, по-снайперски метко засандалил заветный узелок точно в центр открытого окошка. После чего с сознанием выполненного долга и захрапел умиротворенно.

Проснулись мы от страшного крика бабы Фроси.

— Обосрали! — вопила она во всю мощь своего уязвленного самолюбия.— Усюю жилплощадь обосрали!

Усей стенки, усею меблю, усе обосрали, ироды!!! Ногу и ту некуды поставитъ, так усе загадили, говнюки!

Мы ошалело оглядели пространство. Старуха не врала — то, что еще вчера было уютной, чисто прибранной комнатенкой, сегодня сильно напоминало большую и, мягко говоря, дурно пахнущую выгребную яму.

Покрасневший ксилофонист Солодовников нервно покусывал пальцы. Он один хранил секрет ночной трансформации, и секрет этот был прост — то, что он в темноте принял за окошко, на самом деле оказалось зеркалом. Зеркалом, в котором это самое окошко и отражалось.

Вот так истинные носители культуры из Ленинграда обосрались, причем буквально, перед «московским хамьем».

Если эту историю из-за малого количества участников смело можно назвать камерной, то следующая, безусловно, выглядит намного масштабнее, поскольку за ее развитием затаив дыхание следили тысячи глаз.

Представьте себе сельский клуб со сценой. Крохотная комнатка для артистов. На улице лютует зима. Туалет где-то у черта на куличках. Если припрет, на улицу в такую холодрыгу не очень-то разбежишься. Отморозишь все самое необходимое. И всем понятно, что выход из такой щепетильной ситуации один — ведро нужно ставить. А куда его ставить, комнатка-то крохотная? И притом одна. Второй нету. Не ставить же ведро в комнатке. Да и неудобно как-то справлять свои надобности в присутствии коллег. Хоть оне и артисты. Тем более что среди них и женщины имеются. Хоть оне и артистки. А если прихватит — что тогда?

Тут один, самый ушлый, говорит:

— Давайте мы это ведро за задник спрячем. Там, между задником и стеной, узкий проход имеется. Вот ведро и поставим. Не видно и мешать не будет.

Задником, для тех, кто не в курсе, называется занавес, закрывающий от зрителей заднюю стенку сцены.

Действительно тихое местечко. Сказано — сделано. Установили ведро в заданной точке и со спокойной душой начали концерт. Кому приспичило, тот за задничек и в ведерко — кап-кап-кап. Культурно все. Мужики туда бегают, как лоси на водопой. Через каждые пять минут. А женщины, конечно, тоже хотят, но стесняются. Сцена как-никак. Можно сказать, святое место.

Одна певица терпела-терпела, потом думает: «А-а-а! Гори оно все огнем!» И пошла. К ведерку. А надо сказать, что певица эта была натурой довольно романтической и костюм носила соответствующий — меховая горжетка, кофта парчовая и широченная юбка с рюшечками. А под основной юбкой еще штук пять надето. Накрахмаленных. Чтобы первая колом стояла.

И вот подбирается эта романтическая особа на цыпочках к ведру, присаживается на корточки и начинает юбки подбирать. Одну подобрала, вторую, третью. И случайно задник подцепила. Ей же не видать, что там у нее за спиной делается. Глаз-то на спине нету — откуда ей было знать, что это задник. Тряпка и тряпка.

А концерт-то идет. Солист на сцене стихи лирические читает. Колхозники скучают. И вдруг видят, как чьи-то ловкие руки приподымают атласный занавес и появляется на сцене, извините за выражение, жопа. Причем без ног и без туловища. Просто задница! Сама по себе! Как отдельная, самостоятельная единица. И вот эта самая задница, словно она и не задница вовсе, а некое инопланетное разумное существо, парит орлом в свободном полете над жестяным ведром, а потом плавно садится на него обоими полушариями. Сельскохозяйственные труженики как эту летающую жопу узрели, так всем колхозом и ахнули. Солист, который про любовь читал, тоже при виде безголовой задницы на ведерке все слова позабыл. А певица-то не в курсе, какой она ажиотаж произвела. Тихо

свое дело сделала, приподнялась, натянула алые, как паруса, штаны, взмахнула воображаемыми крылами и исчезла за занавесочкой. Будто ничего и не было вовсе. Так потом всем селом и гадали — была все-таки жопень или это явление какое мистическое.

Ведерная история произвела на меня большое впечатление. Я находил ее поучительной. «Случится что-нибудь подобное, обязательно воспользуюсь!» — решил я.

Ждать пришлось недолго. В Доме офицеров, в котором нам предстояло выступить, клозета не было, и я, вспомнив былое, попросил офицера, крутящегося рядом, принести за кулисы ведро.

— Ведро? — удивился он и как-то очень брезгливо посмотрел на меня. — Ведро, уважаемый, мы приносили только для Эдиты Пьехи!

Так и сказал. Знай, мол, свое место. Я мысленно порадовался за Эдиту Станиславовну. Заслужила все-таки привилегию на склоне лет. Ведро за кулисы.

Но давайте свернем с неэстетичной дорожки на чистенькую боковую тропинку, дойдем до беседки и там, в ее прохладной тени, продолжим рассказ о беспутной жизни эстрадного артиста.

В моей записной книжке, буква «М» начиналась с Володи Моисеева. Володя служил концертмейстером, неплохо играл на фортепианах, но была у него одна непроходящая страсть — приколы.

Он, например, мог на голубом глазу, позавтракав в буфете, вылить оставшуюся в блюдце манную кашу в собственный карман, а в ответ на вытаращенные глаза буфетчицы сказать небрежно:

— Не выбрасывать же добро, на самом деле. Доем как-нибудь.

То, что после этого ему приходилось отдавать пиджак в химчистку, уже не имело значения. Зато он оттянулся на славу, а это всегда было для него главным.

Однажды мы зашли с ним в кафе. Перекусить. Официант, небрежно бросив на стол расписание дежурных блюд, процедил сквозь зубы:

— Сейчас приду, — и исчез минут на сорок.

Моисееву этот опрометчивый поступок явно не пришелся по сердцу.

— Ну, погоди! — сказал он и спросил у меня: — Расческа есть?

Я подал. Он повертел ею туда-сюда, а потом вдруг сломал.

— Зачем ты это сделал? — удивился я.

— Скоро узнаешь!

И стал нетерпеливо дожидаться прихода официанта.

Когда тот наконец объявился, Володя резко прихватил его за воротник и пропел в самое ухо:

— Вам привет от Березы!

— Чего-чего? — переспросил тот.

— Не валяйте дурака, Пуцкер! — прервал свое музыкальное приветствие Моисеев. — Я вам русским языком говорю: «Вам привет от Березы»!

— От какой еще там березы? — переспросил официант, не понимая, что происходит.

Моисеев жестом фокусника извлек из воздуха половину только что сломанной расчески и, придвинувшись поближе, прогундосил:

— Никаких расспросов, Пуцкер! Дальнейшие инструкции только после того, как покажете вторую половину. И еще раз напоминаю — не валяйте дурака! Вы уже и так две явки завалили.

Официант изменился в лице.

— А может, вас перевербовали, Пуцкер? — пристально глядяваясь в него, спросил Моисеев. — Вы ведь всегда были слабонервной проституткой! Помните то дело под Могилевом?

— Кто меня перевербовал? — спросил, мертвея, еще абсолютно жизнеспособный несколько минут назад официант.— Какой еще Могилев?

— Я сказал — вторую половину расчески! — безжалостно рывкнул Моисеев.— И без разговорчиков, понимаешь!

— Сейчас п-поищу..— еле выговорил официант и раненой птицей двинулся к кухне.

— За ментами пошел! — ослабился от полученного удовольствия Володя.— Сейчас явятся, родимые!

И оказался прав.

Наряд прибыл даже быстрее, чем можно было ожидать. Не разбираясь, что к чему, они лихо надели на нас наручники и принялись выводить из зала. Обделавшийся официант, наполовину спрятавшись за занавеской, с волнением наблюдал за нашим арестом, прикидывая, чем эта фантазмагория может для него закончиться.

Уже у самой двери Моисеев обернулся и страшно прорычал:

— И учтите, Пуцкер, у нас длинные руки! Очень длинные!

Милиционеры после столь загадочного заявления арестованного, как по команде, глянули в сторону официанта.

— Может, и этого прихватить, чтобы два раза не возвращаться? — спросил один из них.

— Да ну его! — лениво отозвался второй.— Надо будет — возьмем. Куда он денется?

В отделении Моисеев предъявил удостоверение, объяснил дежурному, что мы здесь с концертами, что в кафе зашли просто пообедать, что официант оказался сволочью, а сволочей надо учить, и дежурный — совсем не дуб, как показалось вначале,— посмеялся и, пожелав успехов, снял с нас оковы.

Через полчаса мы вошли в то же кафе и подсели к тому же официанту. Сели спиной, чтобы он нас не сразу заметил. Тот, уже слегка оправившись от встречи с врагами

народа, а потому несколько порозовевший, подошел сзади и спросил не глядя:

— Что будем заказывать?

Справедливости ради надо сказать, что на сей раз голос его звучал значительно гостеприимнее, нежели в наш первый приход. Очевидно, урок не прошел даром.

Моисеев переждал некоторое время, а затем медленно вывернул шею в сторону и, смачно сплюнув, сказал:

— Я же вас предупреждал, Пуцкер, — у нас длинные руки!

Этого оказалось достаточно для того, чтобы мне впервые в жизни посчастливилось лицезреть, как грохается в обморок здоровый околodвухметровый мужик.

А Моисеев уже готовил следующую акцию. Аксию, жало которой было направлено против безобидного, как весенний мотылек, аккуратненького, пузатенького куплетиста Моткина Гриши. Всю свою жизнь Гриша страдал. И нетерпимые эти страдания причиняла ему собственная лысина. Вообще-то ничего страшного. Лысина есть у каждого человека, просто у некоторых она прикрыта волосами.

Лысина же Григория, с одной стороны, придавала ему более комичный вид и доводила репризы до стопроцентного попадания, но с другой — уничтожала все шансы на какое-либо внимание женской половины человечества.

А женщин он любил.

Любил одинокой, безответной любовью онаниста, так как, к сожалению, женщины и Гришина эрекция стояли по разные стороны баррикад. Ночами его терзали сексуальные сны, в которых он, мужественный и волосатый, в окружении ослепительных див, потягивал коктейль через соломинку и в ответ на страстные заигрывания возлежащих у его бедра златокудрых бестий снисходительно улыбался. Но поутру он наталкивался в зеркале на свою неопрятную лысую голову и бормотал, с ненавистью глядя на свое отражение:

— За что же это меня так природа проигнорировала?

Пару раз Григорий пробовал натягивать на себя парик, но тот не держался, съезжал и вообще причинял всякие неудобства.

Так как в то время я был еще достаточно густ, то он относился ко мне с неприязнью, как, собственно, и ко всем остальным, у кого обнаруживались хоть какие-то признаки волосяного покрова.

И вот этого божьего одуванчика и решил разыграть безжалостный Вова Моисеев.

Однажды, когда Григорий, безмятежно готовясь к выступлению, переодевался в концертный костюм, сидящий рядом маэстро, откинув специально заготовленную для этого дела газету «Neues Deutschland», зевнул и сказал будто бы между прочим:

— Вот пишут — в Берлине профессор Ризеншнауцер полностью восстанавливает волосы. Успех гарантирован. Опыты на морских свинках показали прекрасные результаты.

Гриша, застыв с ботинком в руках в классической стойке гончей, почуявшей зайца, спросил, судорожно сглотнув:

— Мне не показалось? Ты сказал — полностью восстанавливает?

— Именно это я и сказал!

Чтобы самому убедиться, что услышанное им — правда, Гриша схватил газету, покрутил ее туда-сюда и на грани отчаяния выдохнул:

— Но она же немецкая!

— Конечно, немецкая, а какой же ей еще быть? Профессор-то из Берлина!

Гриша снова принялся комкать газету, как будто надеясь на то, что какой-нибудь потусторонний барабашка поможет ему в считанные секунды овладеть капризным немцем, но пришелец из потустороннего мира не откликнулся на его призыв. Тогда он снова переключил

внимание на Моисеева и, обратив к нему полные надежды глаза, спросил:

— Ну и как профессор лечит?

— Не сказано! — развалившись в кресле, величаво отозвался Моисеев.— Сказано, что лечит, а как лечит, не сказано. Секрет фирмы. Дай-ка газетку еще разок.

Гриша безропотно дал.

— Если меня не подводит зрение, они для установки правильного диагноза просят еще и фотокарточки прислать.

— Фотокарточки чего? — засуетился Гриша.— Меня?

— Да на кой хрен ему твоя харя? Испугается еще, не дай бог. Лысины, разумеется.

— Лысины? — ахнул Гриша.

— А что тебя так поражает, я не понимаю? Ты ведь лысину собираешься лечить?

— Да. Остальное у меня вроде все в порядке.

— Ну вот! Надо же профессору посмотреть, как она у тебя устроена.

— А как она может быть устроена? — разводил от непонимания руками Моткин.— Лысина, она и есть лысина! Какие в ней могут быть секреты?

— Да, Гриня! — вздохнул Моисеев.— Ты уж если не знаешь чего, так молчи лучше, чтоб народ не смешить. И запомни — лысина всегда индивидуальна. Понимаешь, всегда!

— Да это-то я понимаю. Я другого не понимаю — фотокарточки для чего?

— Повторяю для идиотов: чтобы понять ее характер и правильно про-ди-аг-но-сти-ро-вать! Ты ведь, прежде чем зуб начать лечить, делаешь снимок? Это тебя не удивляет?

— Черт его знает! — бормотал сбитый с толку Моткин.— Зубы — это зубы, а лысина — все-таки лысина. Чудно как-то! А сколько фотокарточек?

— Сейчас глянем! — охотно отозвался Моисеев и снова приложился к печатному органу.— Три! — празднично

объявил он.— Три, родимые! Лысина со стороны правого уха, соответственно со стороны левого и лысина сверху. Так что вперед и с песней. Да, вот тут еще и адресок указан. Ты адресок-то запиши,— сказал он.— «Берлин. Институт мужской красоты. Отделение кожноголовной поверхностной хирургии. Профессору Ризеншнауцеру. Лично в руки».

Григорий тщательно записал адресок и, с трудом дождавшись конца выступления, рванул в фотоателье.

— Мне три фотографии лысины! Слева, справа и сверху! — второпях, снимая пальто, бросил он мастеру моментального снимка.

Мастер, слегка оторопев, задал вполне резонный при данных обстоятельствах вопрос:

— А зачем это, хотелось бы узнать?

— А вам какое дело? — огрызнулся Моткин.— Сказал — три, значит, три! Десять на пятнадцать!

Кинув дикий взгляд на посетителя и окончательно убедившись, что клиент, несомненно, психически неполноценен, фотограф, во избежание припадка, как и было указано, сфотографировал моткинскую лысину слева, затем справа и только потом, усадив чокнутого гостя на стул, взгромоздился с камерой на стремянку и уже оттуда, со стремянки, максимально укрупнив темечко, умудрился отснять столь важный и, может быть, могущий в корне изменить одинокое Гришино существование кадр.

Схватив еще мокрые снимки, Григорий опрометью бросился в гостиницу, с тем чтобы как можно скорее представить их на моисеевскую экспертизу. Ему казалось, что между Моисеевым и легендарным профессором из Берлина наверняка существует тайная связь.

Моисееву же не хотелось разбивать моткинских иллюзий. Тем более что он же и являлся инициатором всей этой грустной комедии. А потому, протерев бархатной тряпочкой лупу, он принялся долго и сосредоточенно рас-

смаковать запечатленный на нем стратегический безволосый объект. На лице его обозначилось глубокое раздумье. Моткин замер в ожидании приговора.

— Ну что же! — прервал наконец глубокомысленное молчание посланник несуществующего врачевателя из Германии.— Я думаю, профессор Ризеншнауцер не будет разочарован. Форма черепашки, безусловно, несколько непропорциональна и патологична, но другого я, честно говоря, и не ожидал. Чудес, Гриня, не бывает. Это, конечно, может повлиять на процесс наращивания обновленных луковичных корешков, но в целом, тем не менее, картина достаточно оптимистична. Мне кажется, что профессор в своей богатой практике встречался со случаями и пострашнее. Думаю, можно отправлять. Адресок не потерял?

— Как можно? — воскликнул окрыленный Моткин.

Выйдя на улицу, он купил конверт с надписью «Международное», вложил карточки, написал заветный адресок, кинул конверт в ящик и, полный радужных надежд, принялся ждать приглашения на операцию. Ждал долго. Германия не отвечала. В конце концов он позвонил Моисееву.

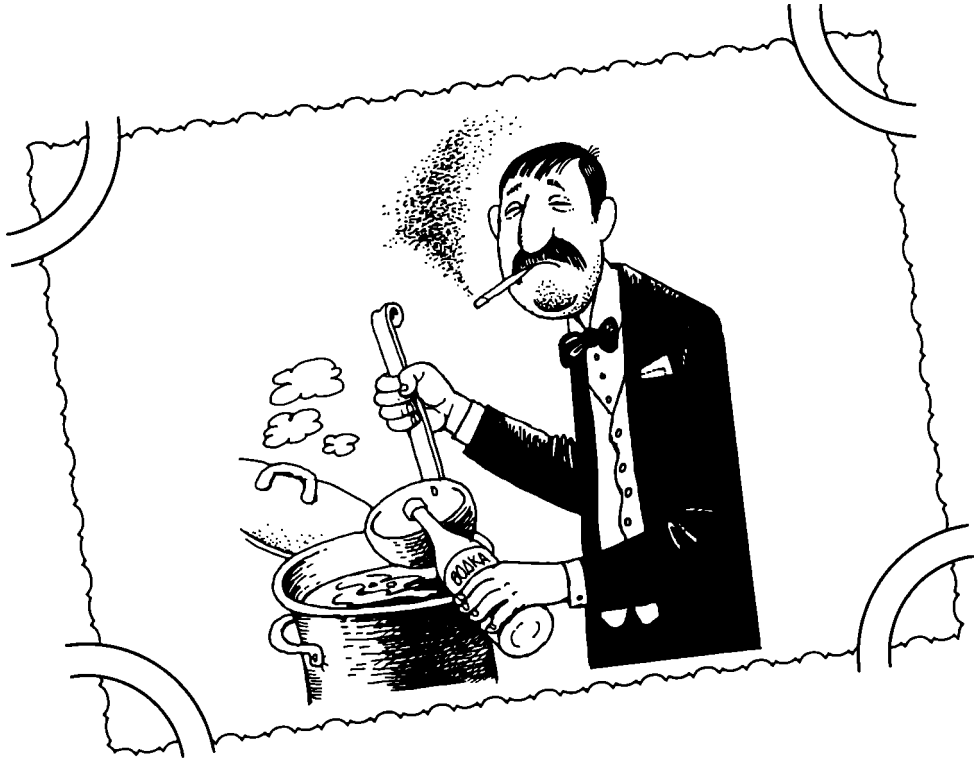
— Володя! — Голос его звучал трагически.— Они молчат!

— Молчат, говоришь...— сочувственно отозвался Володя.— Это плохо. Видишь, какая у тебя дурная голова. Даже немцы с ней ничего не могут поделать. А может, ты свои координаты не указал, а они тебя уже по всему миру разыскивают?

— Да что ты? — обиделся Моткин.— Все написал. И улицу, и номер дома, и квартиру, и имя с фамилией — все указал.

— А-а-а! Вот в этом-то и закавыка! — нравоучительно произнес Моисеев.— Запугал ты их. А написал бы просто: «СССР. Лысому херу из Ленинграда» — сразу бы откликнулись.

ГЛАВА 21,



про Рому

«Вопрос, конечно, интересный». Помните эту фразу, которая, сорвавшись с телеэкрана февральским вечером, в один миг стала народной поговоркой? Без ложной скромности могу сказать, что я горд. Горд потому, что родителями этой крылатой фразы были я и мой партнер Рома Казаков. Нет, надо не так. Родителями этой крылатой фразы были мы — мой партнер Рома Казаков и я. Так правильнее.

Вообще-то звали его Рувка, и фамилия Рувки была вовсе не Казаков, а Бронштейн. Так случилось, что задолго до Рувки у этой фамилии обнаружился еще один обладатель — некто Троцкий, ортодоксальный коммунист, у которого были какие-то нелады с Лениным, кстати, тоже ортодоксальным коммунистом. Ну, это-то понятно — у ортодоксальных коммунистов всегда были между собой какие-то нелады. Так вот, у этого самого неладившего с Ильичом Троцкого фамилия на самом деле оказалась Бронштейн. Согласитесь, товарищи, факт малоприятный. Не уверен, был ли сам Троцкий родственником Рувки, но, как ни крути, и ортодоксальный коммунист Троцкий, и неортодоксальный еврей Рувка — оба были Бронштейнами. Ситуация осложнялась тем, что если по папе Рувка являлся Бронштейном, то по матери он и вовсе был Каплан. Как на грех, баба именно с такой фамилией стреляла в не ладившего с Троцким-Бронштейном и уже знакомого нам Ленина. Согласитесь, что наличие двух таких, прямо скажем, контрреволюционных фамилий у одного субъекта вряд ли предвещало дан-

ному субъекту сахарное будущее. Субъекта Рувку спасла девочка, фамилия которой ласкала слух как карательных, так и других органов осязания и обоняния. Ее фамилия была Казакова. Звали ее Лена. Они расписались и сделали неравноценный обмен — она отдала ему фамилию, а он ей — свои неприятности. Чего-чего, а неприятностей у него было много. Ими он мог одарить не только Лену Казакову, но и все женское население Ленинградской области.

В тот период и меня жизнь не баловала блестящими зигзагами и поворотами судьбы. Рома работал сам по себе, я — сам по себе, и единственное, что нас объединяло, — это скука и сознание абсолютной не востребованости. Все решилось в одно мгновение у пивного ларька. В двадцатиградусный мороз, когда мы выпили несколько кружек пива такой же температуры, нам показалось, что если две отдельно взятые бездарности сольются в едином творческом экстазе, то они, эти бездарности, возвысившись над собственным непрофессионализмом, неожиданно преобразятся из двух хреновых творческих единиц в одну, тоже хреновую, но зато очень большую. То есть как бы появилась возможность брать если уж не талантом, то хотя бы массой. Вопреки всем законам логики наша бредовая идея неожиданно материализовалась, и вскоре наша странная пара предстала перед изумленными глазами худсовета Ленконцерта.

Мы начали бороздить моря и океаны эстрадных площадок одной шестой части света. Наши просветленные лица можно было увидеть в любом уголке страны. Сегодня мы бичевали бюрократов на сцене Кремлевского Дворца съездов, а завтра уже распевали разящие куплеты про застоловой в оленеводческом совхозе, где-то там, за северным сиянием. В три часа мы балагурили в неотопляемом клубике женской колонии, а в семь вечера вместе

с нами уже веселился медперсонал и больные психбольницы № 5. Этих рассмешить было легче всего.

Мы любили наших зрителей, где бы они ни находились. И зрители отвечали нам тем же — они любили нас. И только одно омрачало безоблачное существование — то, что так любившие нас зрители начинали любить нас только по окончании концерта. По окончании. А не до. Они шли не на нас. Они шли на некий концерт, в котором участвуют некие артисты. Шли просто так, от нечего делать, от желания убить вечер. Тогда еще ходили на концерты. На все.

Никогда, товарищи, не верьте артисту, если он говорит, что не стремится к известности. Это или кокетливая неправда, или гнусная ложь. Сама профессия предполагает наличие тщеславия у того, кто решил заняться этим ремеслом. Тщеславие является тем самым кнутом, который подгоняет артиста. Заставляет его работать до седьмого пота, превращает в загнанного раба. Но вот заканчивается фильм, концерт, спектакль (неважно что), падает занавес, зал сотрясают аплодисменты, и артист счастлив. Счастлив как ребенок, потому что он и есть ребенок, а дети любят, когда их хвалят и гладят по головке. Любите артистов, товарищи! Любите и чаще гладьте их по головке. Вам это ничего не стоит, а им приятно...

Итак, нас с Ромой снедала жажда славы. По ночам нам снился телевизор «Рубин» и мы в нем. Не было ночи, чтобы этот кошмар нас не преследовал. Нельзя сказать, что мы сидели сложа руки. Мы делали всяческие попытки. Мы снимались, и нас снимали.

Но снимали, как правило, в тех передачах, которые потом тоже снимали. Но уже с эфира. Если же передача, в которой мы по чьему-то недосмотру оказались, все-таки появлялась в «тиливизире», то это вовсе не

значило, что вместе с передачей в «тиливизире» появлялись и мы. Это значило только одно — что как раз мы-то в ней и не появлялись. Нас «вырезали» телередакторы и режиссеры. Фантазии их не было границ — никогда очередная причина сегодняшней «вырезки» не совпадала с предыдущей. То нас вырезали из-за отсутствия звука на съемке, который пропадал как раз во время нашего выступления, а потом чудесным образом возвращался обратно, то портилась пленка, то вырубался свет... Но всему есть предел. Редакторские фантазии стали иссякать. Более того, они начали повторяться. Мы с Ромой были глубоко жалостливыми людьми, и дело дошло до того, что мы сами предлагали работникам эфира и ножниц версии, по которым они тут же, не сходя с места, могли бы достоверно и необидно объяснить нам очередное наше отсутствие в только что отснятой программе. Однажды, после очередной «вырезки», мы устроили тризну по себе, по окончании которой я сказал:

— Не кажется ли тебе, Ромик, что нам пора проанализировать истоки наших неудач?

— А чего тут анализировать? — ответил Рома и, зевнув, начал отходить ко сну.

— И все-таки почему бы не проанализировать? — не упокаивался я.

Рома был умным. Он знал и помнил все, что только мог знать и помнить эрудированный, начитанный сын Бронштейна и Каплан. И даже чуть больше. И потому он сказал:

— Да нечего тут анализировать. Все и так понятно: два жиды в три ряда — вот тебе и весь анализ.

— Значит, ты, Рома, настаиваешь, что неприятности идут от того, что в нашем дуэте всего два человека и из этих двоих — оба евреи?

— Настаиваю я на лимонных корочках,— сказал Рома, уже засыпая.— Но уточняю: не просто два, а двое из двух. Ты понял? А два еврея из двух — это уже перебор.

— Рома! — сказал я.— Я тебе, Ромик, больше скажу. Даже один из одного — это уже перебор, причем чудовищный.

Но Ромка этого не слышал. Он спал. Он знал, что, когда трудно, лучше поспать. Глядишь, проснешься утром — и все пучком.

И все-таки мы продолжали этот неприступный форпост, именуемый «Останкино». Задницей ли, локтями, ногами, головой ли — это не важно. Важно, что продолбали. Я думаю, что Господь, наблюдая за нашими мучительными безостановочными попытками взобраться на проклятый Олимп и видя, как мы, падая, каждый раз обдираем до крови кожу, испытал за себя некоторую неловкость. Он, наверное, подумал: «Ладно, хорош! Так ведь и изувечиться недолго» — и дал разрешительную отмашку. Я благодарен Господу за его мудрый поступок. Говорю это без всякой иронии. Я благодарен Господу за поддержку, потому как в той стране и в той ситуации помочь нам мог только он.

Итак, Господь переключил красный свет светофора на зеленый, и у нас поперло. Мы появлялись в самых популярных передачах. Нас начали узнавать. Когда у меня впервые попросили автограф, я от неожиданности отпрыгнул, приняв за сумасшедшую эту тетеньку с ручкой и записной книжкой. Мы с Ромой почувствовали первые чуть теплые прикосновения лучиков славы.

И вдруг все кончилось. Ромка ушел. Нелепая смерть. Всякая смерть нелепа, но эта казалась мне самой нелепой и нелогичной.

Его выписали из больницы. Он поселился у старушки. Старушка была одинока, Ромка тоже, и она полюбила его,

как первенца. Она ухаживала за ним, она убирала за ним, она готовила ему еду, и он, видя старушечьи старания, тоже по-своему пытался о ней заботиться, хотя она в его заботе не нуждалась. Это была железная бабушка. Долгие стояния в очередях за всем, что дают (от куска колбасы до справки в ЖЭКе), сделали ее бессмертной. Лет ей было около восьмидесяти, но, глядя на нее, становилось понятно, что дама в белом саване и косой давно потеряла всякую надежду прибрать ее к себе. Я был спокоен, я понимал, что железная бабушка разобьется в лепешку, а Ромку выходит. К сожалению, я ошибался. В одну гнусную ночь прозвенел звонок, и в телефонной трубке раздался отчаянный бабушкин голос:

— Ромочка умер!

Я почувствовал, как ноги стали ватными.

— Ромочка умер,— снова сказала она.— Лежал книжку читал, потом вздохнул, книжку выронил и умер. А книжка на полу валяется.

Я ничего не соображал.

— Как умер, от чего умер?

— От сердца. Вон «скорая» приехала. Говорят, сердце не выдержало.

Утром я приехал к Роме. Он лежал в спортивных штанах и синей рубашке. Но это уже был не Рома. Мне казалось, что передо мной лежит памятник. Торжественный и величественный. Даже рубаха, казалось, была сделана из мрамора. Санитары накрыли его простыней, положили на носилки, понесли, и вдруг второй, шедший сзади, узнал его.

— Слушай, да это же этот... как его... помнишь... «вопрос, конечно, интересный».

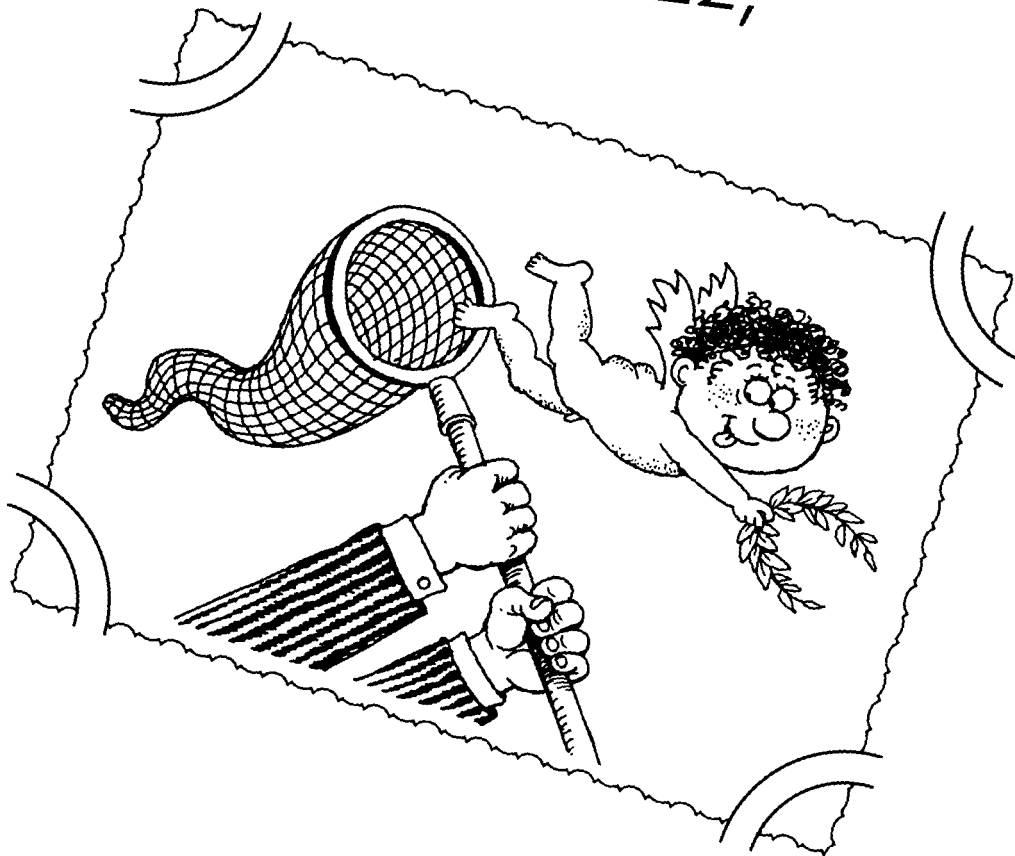
— Да ты чё? — удивился первый, обернулся и уронил Ромку. Ромка лежал на полу, безучастный к восторгам санитаров.

— Ты глянь,— обрадовался первый,— действительно он.
Через день Ромку похоронили. После кладбища пили
и плакали. Плакали и пили.

Прошло девять лет. На ячейке с Роминой урной сломан заборчик. Фотография слиняла и наполовину отодрана ветром. И только рядом с урной валяется скукоженный искусственный цветок, принесенный кем-то когда-то очень-очень давно...



ГЛАВА 22,



**В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ О ПОЛЬЗЕ
ПЬЯНСТВА ДЛЯ ТЕХ, КТО МЕЧТАЕТ
О БЫСТРОМ ЛЕТАЛЬНОМ ИСХОДЕ**

Я родился в виноградной республике, и уже из одного этого можно сделать вывод, что Родина щедро поила меня не только березовым соком.

Еще в семилетнем возрасте я, садясь ужинать, с молчаливого согласия родителей выпивал несколько граммов легкого молодого вина. А юношей совершал с приятелями рейды по бесчисленным подвальчикам и погребкам, где чуть ли не даром можно было пропустить стаканчик «Рошу де пуркарь», заев его при тебе приготовленной и еще пахнущей дымком костичкой с помидорчиком и соленым огурцом. Обычно до обеда мы обходили как минимум три точки, а после — еще пять.

Пьяных среди нас не было — приди я хоть раз подшофе, мой вспыльчивый отец, несмотря на то что я уже не был мальчиком, устроил бы мне показательную порку. В качестве назидательного урока мне вполне хватило его реакции, когда он впервые засек меня курящим. Было мне тогда лет шестнадцать или чуть более. Во всяком случае, паспорт я уже получил. Я сидел на скамеечке в милом моему сердцу стареньком соборном парке и, балдея от летнего неба и соловьиных трелей, потягивал вкусную сигаретку.

«Как прекрасна жизнь, ля-ля-ля-ля-ля! — думалось мне, а душа вторила эхом: — Как прекрасна жизнь, ля-ля-ля-ля-ля!»

«Как здорово, что я молод и все еще впереди, ля-ля-ля-ля-ля! — мурлыкал я, и снова душа вторила в такт: — Как это здорово, ля-ля-ля-ля-ля!»

Так, распевая в обнимку с душой нехитрый мотивчик, я кайфовал в тени многолетних дубов и сосен, небрежно перебросив ножку на ножку и беззаботно покуривая.

И вдруг я увидел папу. Взгляд его был страшен. Как на картине Репина «Иван Грозный убивает своего сына», только с молдавским акцентом. Меня словно парализовало. И вместо того чтобы молниеносно выплюнуть злосчастную сигарету куда подальше, я с перепугу выпятил ее вперед, нагло зажав промеж зубов.

Такого невиданного цинизма отец перенести был не в силах, и, протянув ко мне свою внушительную волосатую лапищу, он просто втер в меня сигарету вместе с фильтром, размазав по лицу то, что уже не смогло войти в рот.

— Есчо раз увижу таких вещей!.. Ну ты мне понял,— предупредил он с чувством, и я понял, что это не пустая угроза.

Можно только представить, как бы он отреагировал, увидев меня развалившимся на зеленом газоне и нежно посасывающим винцо.

Напитаться я мог только далеко от отчего дома, что я и не преминул сделать, едва только нога моя коснулась благословенной московской земли.

Пили мы в основном дешевый азербайджанский «Агдам». Он, конечно, не был столь благороден, как благословенное «Рошу де пуркарь», но, не в пример ему, быстро сбивал с ног, чего, собственно, от него и требовалось.

И тем не менее пил я аккуратно — сказывалось родительское табу. Алкогольная интоксикация настигла меня негаданно, в конце первого курса. А началась эта хмельная премьера следующим образом. Отстояв очередь за стипендией, я наткнулся на Леху Петракова. Леха являл собой ходячее перпетуум мобиле, из уст которого по-

стоянно вырывались крылатые фразы, подхватываемые всем курсом. Например, такая:

...«Мистер Лэнин, я слышьял, чтьо у вашьего знамьенитого письятеля Максима Горького всьего одьин костюм. Это дьествайтэлно есть так?

— М-да-с, батенька, это так!

— Но это же есть возмьютьитьельно, мистер Лэнин! Чтьебы пысател с мьировым имьенем имьель всьего одьин костюм!

— Возмутительно, догогой мистег Уэллс, не то, что у Гогького один костюм, а то, что у Петгакова ни одного! Вот так-с, батенька!»

Леха постоянно был опутан огромным количеством всякого рода бессмысленных дел, а потому не было случая, чтобы он не опоздал на занятия, хотя опоздать было невозможно — учеба начиналась не ранее двух часов дня.

Причины петраковских опозданий были самыми невероятными: то ему непонятно каким образом появившиеся в Москве курдские повстанцы на Красной площади дорогу перегородили, то он бабушку из-под трамвая выдернул, то на прораба шлакоблок упал — опять Лехе пришлось выручать. Вся эта бредятина прощалась и сходила ему с рук, потому что его все любили. Как, впрочем, любят всякое беспутное дитя. Женщины также тянулись к Петракову, а он, давно привыкший к всеобщему обожанию, всех их, независимо от возраста и положения, называл «профуры, плюшки и телеги».

Однажды он привел обалденно красивую деваху. Ноги до головы, волосы до пят — отпад, одним словом.

— Как ее зовут? — спросил я с некоторой долей далеко не белой зависти.

— А я откуда знаю? — беспечно отозвался он. — Телега какая-то, только что подцепил.

Короче, подходит он ко мне и спрашивает:

— Стипендию получил?

— Получил,— отвечаю.

— Пойдем в кабак, пропьем. Я парочку плюшек пригласил — весело будет.

— А куда пойдем? — спросил я, предполагая, что Леха назовет какую-нибудь первую попавшуюся забегаловку.

А он вдруг говорит:

— В «Пекин».

«Пекин» был одним из самых дорогих ресторанов.

— Ты что, офонарел? — ужаснулся я.— Какой, на фиг, «Пекин»? Во-первых, денег нет, а во-вторых, в чем я туда пойду?

Вопрос был вполне правомочен, поскольку мой гардероб не распухал от перенасыщенности элегантными костюмами, и на все случаи жизни у меня тогда была пара брюк, свитер-маломерка и пиджак, у которого я, гоняясь за модой, срезал лацканы, «шобы, значить, как говорил наш комендант, красиво, как у битлз, было!».

— Да брось ты! — отмахнулся Леха.— Кто там будет тебя рассматривать? А за бабки не волнуйся — сороковника за глаза хватит.

«Гавкнулась степуха!» — подумал я, но, с другой стороны, охота покрасоваться в «Пекине» с петраковскими «профурами, плюшками и телегами» победила вполне понятную ностальгию по поводу неизбежной потери только что полученной стипендиальной двадцатки.

«Плюшки» подъехали к вечеру. На сей раз вкус подвел Петракова — они оказались не фонтан. Одна из них слегка подволакивала ножку, зато у другой зрение было минус семь и была она похожа на чудо-юдо-рыбу-телескоп. Но в данном случае это не имело никакого значения — подружки были приглашены не для любовных утех, а, скорее, в качестве антуража.

Войдя в ресторан, я ощутил некоторую скованность — обилие смокингов, бабочек и бриллиантов только под-

черкивало юродивость моего и без того неброского, да еще лишенного насильственным способом лацканов пиджака.

Петраков также не блистал нарядом — на нем болталась выцветшая ковбойка, которую украшал значок ГТО с горделивой надписью: «Готов к труду и обороне». Однако Петракова сей факт никоим образом не смущал — наоборот, чопорная атмосфера вызывала у него удовлетворение. Вроде как наконец после долгой разлуки попал к своим.

Наш странно выглядящий и плохо вписывающийся в шикарный ресторанный интерьер квартет в лице двух болезненных девушек, меня в свитере-маломерке и Петракова со значком ГТО вызвал у метрдотеля легкое замешательство. Он окинул взглядом богатую публику, потом еще раз посмотрел на нас и окончательно убедился: то, что перед ним стояло, ни в коем случае нельзя квалифицировать как мираж. Мы не являлись персонажами из американского ужастика: мы были реальны, как сама жизнь.

Петраков, никак не реагируя на многозначительные метрдотельские пасы, решительно двинулся к столику в центре.

— Может, все-таки где-нибудь в сторонке пристроимся? — двинувшись бочком за Петраковым, прошептал я. — Вон там, в углу, есть местечко. Там нас видно не будет.

Но Леха был неумолим:

— А почему это нас не должно быть видно? Что это за самоуничижение такое? И-исключительно в центре!

И, усевшись магараджей, принялся многозначительно рассматривать меню.

— Значит, так, — сказал он тенью следовавшему за нами метрдотелю. — Для разгону две бутылки водки и пару по-

мидоров. Это нам. А девушкам — хлеба с горчишкой, чтоб не скучали.

Мэтр раскрыл было рот, чтобы узнать, а что же, собственно говоря, мы будем есть, но Петраков, как бы предупреждая этот бестактный вопрос, прервал того на полуслове:

— Пока все! Свободен, как Африка!

Вскоре заказанный Лехой джентльменский набор уже красовался на столе, но тут со мной произошло непредвиденное — первый стакан не пошел. Мой люмпенский организм, доселе не приученный к принятию спиртного в столь помпезной обстановке, решительно воспротивился.

У меня создалось ощущение, будто горло, выставив вперед крохотные ручонки, как бы уперлось ими в весело устремившийся внутрь водочный ручеек и заверещало отчаянно:

— Не пу-у-у-щу-у!!!

И лишь огромным усилием воли мне удалось победить свою восставшую гортань, а уж дальше все покатилося как по маслу.

К середине второй бутылки мне было совершенно безразлично, где я нахожусь: в ресторане «Пекин», английском парламенте или с бомжами под забором.

Тем не менее я, что, без сомнения, делает мне честь, предпринял попытку преодолеть земное притяжение и оторваться от стула. Пол, чутко отреагировав на мои трепыхания, тут же начал укатывать из-под ног, но я все-таки сумел удержаться, ухватившись за пудовую сиську рыбы-телескоп.

— Се! — пробормотал я.— Кранты! Домой хочу!

— Плюшку не забудь! — донесся, как сквозь вату, голос Петракова.

Но ни о какой «плюшке» и речи быть не могло.

— Леха! — печально спросил я, еле ворочая языком.— Как же я доберусь в таком скотском виде?

— Ничего! — утешал Леха.— Добересси!

Кое-как я втащился в троллейбус, а потом и в электричку. Поражала скорость передвижения. Мне казалось, что с момента входа в троллейбус и выхода из поезда прошло минуты две.

Очнулся я недалеко от общежития и крайне изумился, улицезрев на месте расположения луны чьи-то ноги. Удивление еще больше усилилось, когда я понял, что чьи-то ноги являлись не чьими-то, а исключительно моими.

Я встал и ощутил себя утлым суденышком, попавшим в девятибалльный шторм.

— Оп-па! — подбадривал я себя, раскачиваясь былинкой на ветру.— Оп-па!

Метрах в десяти от общежития я наткнулся на неожиданное препятствие — огромное корыто с жидким бетоном. Учитывая, с каким трудом давался каждый шаг, и прикинув свои отнюдь не беспредельные возможности, стало ясно, что обойти казавшуюся непреодолимой преграду вряд ли удастся.

И я, справедливо полагая, что самая короткая кривая — это прямая, отважно ступил в означенное корыто и, не медля потеряв равновесие, упал на карачки. Так, на карачках, по уши в растворе, я благополучно добрался до противоположного края. А вылезая из бетонного месива, обнаружил отсутствие левой туфли и почувствовал легкое угрызение совести.

«Как же так? — укорял я себя.— Иностраннный инженер эту туфлю придумывал, конструировал, ночи не спал, а ты ее в жидком бетоне утопил. Безжалостно! Как Герасим Муму!»

Мне стало мучительно обидно и за Герасима, и за собачку, и за саму туфлю, и за людей, ее изготовивших. И я,

пораженный собственной чувствительностью, снова вполз в корыто и шарил в нем неверной рукой до тех пор, пока наконец не наткнулся на пропажу.

Вполз я чрезвычайно довольный, а так как приподняться я уже был окончательно не в состоянии, то весь оставшийся отрезок прошел по-пластунски.

Первое, что предстало утром моему протрезвевшему сознанию,— это величественно застывшие в бетоне и стоящие раком брюки, такой же пуленепробиваемый, монолитный пиджак и две полуметровые каменные болванки, еще вчера бывшие модельной венгерской обувью.

Я вспомнил могучую статую мальчика с веслом, стоящую в центральном парке города Камышина, и подумал, что именно таким монументальным одеянием можно было прикрыть его нескромную наготу вместе с веслом.

На втором курсе в качестве педагога к нам пришел Евгений Яковлевич Весник. Он вошел в аудиторию, и в ней сразу стало тесно от невероятного обаяния, которое излучал этот огромный человек. Понятно, что при первой встрече со столь маститым и титулованным артистом все мы, еще вчера бывшие провинциалы, зажались как сукины дети. Мы просто были подавлены ореолом величия и славы, витавшим над ним. А он, сразу обратив на это внимание, назидательно произнес:

— Есть такая категория людей, которые делают вид, что им чужды естественные человеческие слабости, а потому они якобы не писают и тем более не какают. Судя по вашим лицам, вы, уважаемые, находитесь в ее авангарде. По-моему, вам надо расслабиться.

Закончив свой короткий монолог, он посмотрел на меня и, протянув пять рублей, сказал:

— Ну-ка сбегай в лабаз и принеси чего-нибудь крепкого.

Я сбегал, принес, народ выпил, и зажатость как рукой сняло.

Сдачу каждого экзамена мы всегда отмечали пышно и бравурно, собираясь у него дома, где и досиживались часеню до самого утра, слушая его замечательные истории. Но особенно остро в память врезалась одна. История о двух великих актерах – Алексее Диком и Николае Грибове. Артисты – в своей сущности дети, а дети, как известно, любят играть. Дикий и Грибов не составляли исключения из этого ряда, только игра, которую они для себя придумали, носила, как бы это помягче сказать, достаточно странный характер. Называлась она «Две столицы», и условия ее были до примитивности просты: огромная железнодорожная карта Москва – Ленинград, выцганенная Диким по случаю у наркома путей сообщения, и много выпивки. Огромная эта карта расстилалась в не менее огромной диковской гостиной поверх ковра. Играющие зажмуривали глаза, затем несколько раз прокручивались на месте и, раскрутившись до головокружения, тыкали пальцем в карту. От утыканного пункта отсчитывалось расстояние до Москвы, после чего километраж переводился в граммы и немедленно выпивался. Такая вот незатейливая детская игра. Не стоит и говорить, что до конечной остановки, то есть до Питера, играющие так ни разу и не добрались, так как обычно уже к Бологому напивались так, что их впору было выносить из поезда. Чем еще была хороша эта игра, так это тем, что в ней никогда не бывало победителей. Равно как и проигравших.

Как-то поздней ночью, когда пьяный их паровоз всю мчался по дистанции и уже довез своих плохо соображавших пассажиров куда-то в район Вышнего Волочка, тишину прорезал телефонный звонок. Алексей Денисович, еле добравшись до трубки, с трудом выговорил:

— У аппарата.

— Товарищ Дикий! — раздался вежливый до тошноты голос.— Вас беспокоят из приемной Сталина. Иосиф Виссарионович ждет вас через полчаса. Машина уже у подъезда.

В трубке раздались короткие гудки. Очумевший Дикий, понимая, что приход к вождю в столь непотребном виде в лучшем случае грозит сроком, и притом немалым, ринулся в ванную, панически соображая, что бы предпринять для молниеносного отрезвления, приговаривая только: «Господи, только бы пронесло, сам свечку пойду поставлю!» Он нюхал нашатырь, обливался ледяным душем, опять нюхал, затем опять обливался — и так много раз, пока наконец не почувствовал необыкновенную легкость внутри себя и абсолютную готовность к встрече с вождем мирового пролетариата. Ровно через тридцать минут он стоял у сталинского кабинета. Перекрестился втихаря, чтобы никто не видел, и вошел. Вождь глянул на него исподлобья, а затем, ни слова не говоря, скрылся за бархатной занавеской. Не было его достаточно долго, и можно только представить, какие невеселые думы посещали опальную голову Алексея Денисовича в его отсутствие. Наконец Сталин появился. В руках он держал початую бутылку коньяка и два огромных пузатых бокала с изображением серпа и молота. Поставив бокалы на стол, он тщательно протер их рукавом кителя и начал разливать. Первый залил до краев, во второй капнул на доньшко. Себе взял полный, а второй, в котором было на доньшке, подал Дикому. Чокнулись. Выпили.

— Ну вот,— сказал Сталин, вытерев усы и ухмыльнувшись,— теперь мы с вами можем разговаривать на равных.

Как-то Евгений Яковлевич отозвал меня в сторонку:

— Еду сниматься в Карпаты. Могу взять тебя с собой. С режиссером я уже на всякий случай договорился. Ролька, конечно, крохотная, но лучше, чем ничего. Да и отдохнешь заодно. Так что решай.

А что тут было решать? Я согласился.

Я впервые попал в киношную тусовку, и мне было безумно интересно наблюдать за своим учителем изнутри процесса. Однако через несколько недель плотный контакт прервался самым неожиданным образом. Мой уважаемый педагог повстречался с Иваном Федоровичем Переверзевым, также снимавшимся в этой картине. Вот это была звезда так звезда.

На съемки Иван Федорович приехал не один: при нем была любовница и собака.

— Ванюша! — басил Евгений Яковлевич, чуть ли не намертво сжимая в своих объятиях не столь мощного, нежели он, Перевэ.— Друг ты мой, Ванечка, как же я рад-то, дорогой ты мой! Столько не виделись! Надо бы отметить.

Не менее обрадованный встрече Иван Федорович живо откликнулся на призыв, но потом, что-то вспомнив, озабоченно поинтересовался:

— А куда я своих сучек подеваю? — очевидно, имея в виду любовницу и собаку одновременно.

— Забудь, Ванюша! — грохотал Евгений Яковлевич, не выпуская из тесных объятий друга.— При чем здесь сучки? Ты посмотри, какая благодать кругом! Погода райская, природа, ручеек из гостиницы виден, магазин рядом. Чего еще надо?

И Иван Федорович, махнув рукой на привезенную с собой даму с собачкой, поддался на уговоры. Пили они исключительно сухое, которое называли '«сухаго», и коньячок. Для разминки взяли ящик.

— Ах, Ванька, как же я тебя, подлеца, люблю! — все никак не мог успокоиться Евгений Яковлевич. — Ну, давай еще по стакашку, милый!

И Иван Федорович, у которого и в мыслях не было сопротивляться буйному напору товарища, с удовольствием выпивал предложенный ему от чистого сердца стакашок, а потом еще стакашок, и еще один, и еще, пока наконец ящик не опустошился до самого дна.

Пошли за следующим...

На третий день, когда Веснику стало ясно, что милая дружеская попойка начала приобретать характер стихийного бедствия, он сказал себе: «Хорошего понемножку» — и самоустранился от дальнейшего празднования. Но Иван Федорович духом был слаб и самоустраниться не мог при всем своем желании.

Режиссер Николаевский в отчаянии заламывал руки.

— Боря! — взывал он ко второму режиссеру Урецкому. — Ну ты же ведь сам бывший алкоголик! Придумай же что-нибудь. У Переверзева с утра труднейшая сцена, как мне с ним работать, он же, извините, лыка не вяжет!

Растроганный невиданным доверием к своей персоне, бывший алкоголик Урецкий решил пойти Николаевскому навстречу. Поэтому, дождавшись ночи, вытащил полубесчувственного Ивана Федоровича на своих далеко не геркулесовых плечах и, с трудом доволочив до собственного номера, сбросил на кровать.

А чтобы тот, очнувшись, не дай бог, не убежал за очередной порцией выпивки, второй режиссер, как умная Клава, запер дверь на ключ, а сам в качестве сторожевого пса улегся на пол.

Рано пробудившийся от тяжелого сна Иван Федорович властно потребовал у Урецкого чего-нибудь крепкого.

— Я вас заклинаю, — разволновался Урецкий, — группа третий день стоит. Одна сценка всего. Малю-юсенькая!

Мы ее отснимем, а уж после я вам лично бутылочку принесу. Мамой клянусь!

— Ладно! — безрадостно согласился Переверзев.— Только сначала пожрать. Жрать охота после вчерашнего.

Придя в буфет, Иван Федорович заказал суп. Второй режиссер как прикованный находился рядом и не спускал с него тревожных глаз.

С перепоею, а потому злой как черт, Переверзев принялся хлебать. Проглотив первую ложку, он насторожился, после второй приободрился, после третьей — ненатурально повеселел, а к концу тарелки уже с трудом выговорил:

— Ну, Борыска, пшли сыматься!

Боря, пораженный метаморфозой, был вне себя. Понятно, что о съемках не могло быть и речи, но его выворачивало наизнанку совсем от другого — он никак не мог понять, каким образом еще совершенно трезвый мгновение назад Иван Федорович сумел так безобразно накачаться, не выпив ни единого грамма и находясь все время под его строжайшим контролем.

Следовательно, причину надо было искать в супе.

Озверевший от страшной догадки, Урецкий схватил буфетчика за грудки и прошипел гадюкой:

— Ты что это ему в суп налил, подлец?

— А что, собственно, такого произошло? — невозмутимо откликнулся тот.— Человек мается, опохмелиться хочет. Вот я ему в тарелку вместо супа пол-литра водки и влил. Не помирать же человеку из-за такой ерунды, в самом деле!

А чтобы Урецкий не уличил его в дурном умысле, крикнул вдогонку:

— Нет, вы поймите правильно, я ведь в тарелку не только водки, я туда и супчику добавил! Для вкуса. Полторы ложечки. Что же я, изверг какой-то, что ли? Небось

понимаю, что человеку не только выпить, ему и позавтракать хочется.

Самым философичным и грустным пьяницей из моих знакомых, несомненно, был Робик Гурский. Я познакомился с ним в Магнитогорске. Вы, случайно, не бывали в Магнитогорске? Вам повезло. А мне пришлось. Один разок.

Встретивший нас в аэропорту представитель городской администрации, увидев такое количество знаменитостей, собранных единовременно в одном месте, настроился на игривый лад. Мы рассеялись по «Икарусу», он же, восседая впереди, нет-нет да оглядывался назад, словно подсчитывая: все ли на месте, никто не смылся?

Ему льстило находиться в столь почетном окружении. Голова его слегка покруживалась, и он испытывал сильнейшее возбуждение.

Сдерживать эмоции он был не в состоянии, и от этого недержания беспрестанно лопотал, сопровождая свою болтовню безумолчным гоготанием.

— Магнитка,— веселился он в мегафон,— кузница периферии! Пятнадцать процентов выпускаемого в стране металла приходится на нашу долю! — И гогочет: — Здесь проживает около полумиллиона человек. Каждый второй работает, каждый третий учится, каждый первый пьет!

Снова гогочет:

— Средний возраст жителей — тридцатник!

Опять гогочет.

— Такой молодой город? — спрашивает кто-то.

— Ыгы! Не просто молодой — юный!

Громовой гогот, переходящий в ржание.

— А почему?

— А потому, что до пятидесяти у нас никто не доживает!

И уже гогочет так, что уши закладывает.

Робик сидел рядом со мной и, умиротворенно потягивая из хромированной фляги что-то очень приятное, не обращал на животные поогатывания сопровождающего никакого внимания. Потом неожиданно повернулся ко мне и спросил заикаясь:

— Хэ-хочешь паспорт па-акажу?

— Покажи,— сказал я, слегка удивленный столь оригинальной формой знакомства.

Он показал, и я сразу же выпал в осадок. В паспорте, черным по белому, было написано: «Роберт Израилевич Гуревич-Гурский. Национальность — белорус».

Я ощутил к владельцу столь замечательного документа прилив доверия, и мы подружились.

Кто-то пьет с горя, кто-то — с радости, кто-то — от безделья, а Робик пил от ненависти. Было ему года пятьдесят два, и большую часть из них он вместе со своим партнером отработал с номером «Комические акробаты на столе».

Вот этот-то номер он и ненавидел. Оно и понятно: что тут приятного, когда тебя изо дня в день прикладывают фэйсом об тэйбл. Потому и пил.

Как-то, зайдя ко мне, он, налив себе стопочку, говорит:

— Сегодня утром пэ-пэпроснулся, гэ-глянул на себя в зеркало и испугался. Пэ-эпредставляешь, небритый, хы-хы-худой, ал-лкаш и ак-к-кробат-эксцентрик!

Если белоруса Гуревича смело можно было отнести к апологетам сионистского пьянства, то другой мой знакомый, рабочий сцены Семен Семеныч, олицетворял в своем лице пьянство российское.

Семен Семеныч шепелявил и, знакомясь, представлялся следующим образом:

— Фемен Феменыч — мафтер фвета и звука.

По этой причине все называли его Фэфэ. Роста он был чуть повыше табуретки и вообще сильно смахивал на Карлсона, только, в отличие от него, не летал, а наоборот, был максимально приближен к земле. Если у любого, самого последнего ханыги и бывают редкие минуты просветления, то Фэфэ такого небрежного отношения к своему здоровью позволить не мог ни при каких обстоятельствах.

Я не знаю, как ему это удавалось, но вы могли разбудить его в три часа ночи и с удивлением убедиться, что Фэфэ хмелен и буен, как ломовой извозчик.

Однажды после концерта мы потеряли нашего достопримечательного работника и после долгих поисков нашли его на самом верху сцены, под колосниками, накрытого попой. Брюки его были по известной причине мокры, и в ответ на наш страстный призыв: «С какого перепугу ты так нажрался?» — он промычал с достоинством: «А потому что обоссался!»

Проходя райкомовский инструктаж перед поездкой в Чехословакию, на вопрос инструктора: «А представители скольких компартий принимали участие в последнем съезде КПСС?» — не просыхающий Фэфэ гордо ответил: «Я радифт, а не разведчик!»

А уже в самой Чехословакии, собрав воедино все, что с таким трудом было заработано, двинул в фешенебельный кабак, где заказывал в неограниченном объеме самые дорогие блюда и напитки и даже пытался, суя смятые банкноты в морду руководителя маленького джаз-банда, играющего на ресторанной сцене, спровоцировать того «фарахнуть», как он выразился, «по бурвуазии „Барыней“».

Руководитель от заманчивого предложения «фарахнуть» категорически отказался, мотивируя это тем, что оркестр у них джазовый, а не балалаечный и что ника-

кой «Барыни» они не знают и знать не хотят. Спустивший к тому времени около двух тысяч крон, разгульный Фэфэ обиделся и, покачиваясь, вышел на улицу, где с криком «Таксо, к ноге!» тормознул первую попавшуюся машину.

Тут следует отметить, что по существу работавший обыкновенным грузчиком Фэфэ отнюдь не считал себя пролетарием, так как в его жилах текла настоящая дворянская кровь.

Революция вымела его высоких предков вон, но, очевидно, все-таки не совсем всех. В противном случае Фэфэ непременно родился бы за границей и уж, конечно, не разгружал бы фуры с аппаратурой, а служил бы потихонечку в каком-нибудь маленьком банке какого-нибудь Баден-Бадена.

Фэфэ очень кичился своим происхождением.

— Мы — дворяне, еб вашу мать! — орал он в пьяном угаре. — А вы все — быдло!

Судьба распорядилась так, что шофером такси, куда опрометчиво погрузился Фэфэ, оказался бывший наш парень. Уж не знаю, как это вышло.

Определив по буйному поведению и количеству матюгов на единицу времени, что подсевший пассажир не иначе как свой, он, естественно, обратился к нему по-русски и спросил:

— Куда едем?

В этот момент в Фэфэ неожиданно сыграла бравурный марш упомянутая уже аристократическая жилка, и он, усмотрев в вопросе водителя недостаток уважения к своей персоне, ответил тому с достоинством:

— Трогай, скотина!

Водитель, доехав до ближайшего леска, молча выволок представителя отечественной аристократии из автомобиля и, в точности с полученным указанием, тронул

его, причем, судя по тому, в каком виде уважаемый Фэфэ прибыл в отель, исполнил его просьбу не раз и не два.

Случай этот вверх Фэфэ в крайнее уныние. Нанесенное оскорбление хотелось запить многолитровыми цистернами, но валюты в карманах не было — вся она была безнадежно прокучена. Он нетерпеливо дожидался возвращения на родную землю, чтобы там отомстить за свою поруганную честь.

Но родина встретила его неприятным сюрпризом — началом перестройки. Водка с магазинных прилавков бесследно пропала, а в ресторанах если и наливали, то по чуть-чуть.

Фэфэ жгуче затосковал. И не он один — вся страна впадала в депрессию. Один мой приятель рассказывал, захлебываясь в выражениях, как пришел в кафе заказать свадьбу для так некстати выходящей замуж дочери.

— Прихожу я, бля,— рассказывает,— к заведующей оформить этот самый заказ. Ну, там сперва салаты, бля, селедочка, икорка, горячее разное, доходим до спиртного, бля, и тут заведующая говорит: спиртное, говорит, согласно постановлению правительства, не более ста граммов на человека, бля!

Да вы что, бля? — говорю я ей.— Какие там сто граммов? У меня ж, бля, все мужики, как молотобойцы,— меньше литра никто не принимает! Я им что, бля, водку в мензурке подавать буду? По десять капель на тост, бля?

А она мне опять: ничего, мол, не знаю, бля, указ, бля, правительства, бля!

Потом, как на мою рожу глянула, испугалась и говорит: хотя, говорит, если вы вашу свадьбу как похороны оформите, тогда можно будет и по двести! Как тебе это нравится? Я, бля, в другой кабак сунулся, в третий — там вообще, бля, со мной никто разговаривать не стал. Пришлось согласиться.

Я себе попытался представить эту свадьбу... Невеста — в черном, жених — в черном, родители — в траурных повязках. Гости захлебываются в плаче. Тамада встает и говорит мрачно: «Почтим, бля, память брачующихся минутным молчанием. Царство им небесное! Горько, бля!»

Теперь вам, надеюсь, будет понятна причина некоторой тревоги, которую я испытывал, войдя в кабинет директора читинского ресторана по поводу празднования моего дня рождения, поскольку получилось так, что мой день рождения застукал меня на гастролях, именно в то проклятое время и именно в Чите. Учитывая мои несуществующие заслуги перед отечеством, а также именитых приглашенных, директор пошел мне навстречу.

— Сделаем так, — сказал он, — чтобы излишне не нервировать остальных присутствующих, я вашу водку разолью в бутылки из-под минеральной воды. Тут, главное, не перепутать, так как в одних бутылках из-под минералки будет водка, а в других, точно таких же, — непосредственно сама минералка. Бутылки, подчеркиваю, совершенно одинаковые — боржомные. Поэтому повторяю — главное, не перепутать! Надеюсь, вам ясно почему? — внимательно посмотрев на меня, спросил на прощание директор.

— Ясно-ясно! — сказал я, оценив директорскую предосторожность.

Когда гости расселись за огромным столом, я объявил им, что, учитывая ситуацию, водку нам в целях конспирации подадут исключительно в бутылках из-под боржоми.

— Трудность заключается в том, — втолковывал я гостям, — что кроме мнимых бутылок из-под боржоми, в которых уже находится водка, будут еще и другие, такие же бутылки, но уже с настоящим боржоми. Потому, во избе-

жание эксцессов, предупреждаю — слева от каждого бутылка боржоми с боржоми, а справа — бутылка боржоми, но с водкой. Все запомнили?

— Все! — дружно откликнулись гости и тут же, позабыв о грозном предупреждении, принялись лихорадочно разливать.

Вечер загудел, и поздравления посыпались одно за другим. Расчувствовавшемуся Васе Лановому тоже захотелось сказать про меня что-нибудь эдакое. Он отговорил, поцеловал звонко, опрокинул по-гусарски бокал, и вот тут-то и случилось то, о чем так настырно предупреждал директор.

Вася, собираясь, как положено, запить «горькую» водой, взял по ошибке не свою левую бутылку боржоми с боржоми, а мою правую из-под боржоми, но с водкой. Налил до половины и смачно выпил. Потом вдруг привскочил на месте, побагровел, закашлялся и, вероятно стараясь как можно скорее исправить собственную оплошность, довольно несдержанно схватил стоявшую рядом с его бутылкой из-под боржоми, но с водкой другую бутылку из-под боржоми с прозрачной жидкостью, справедливо рассчитывая, что уж эта бутылка точно с боржоми.

Не раздумывая он хлопнул ее прямо из горла, но, судя по безумному глазу и внезапно вывалившемуся языку, стало очевидно, что он опять хапнул явно не то, на что втайне надеялся. На Васю стало страшно смотреть: из благополучного народного артиста он превращался в отловленного и брошенного на раскаленную сковороду еще минуту назад беззаботно плескающегося в речке карася.

Из горла его выполз сдавленный хрип:

— Воды-ы! Дайте же кто-нибудь воды!

Тут началась паника. Все, движимые благородным стремлением помочь умирающему, напрочь лишились рассудка и позабыли, в какой бутылке что находится.

И когда Вася, в полубессознательном состоянии, залил в себя четвертый кем-то заботливо поданный стакан, факт непоправимой ошибки был налицо — бутылки опять перепутались!

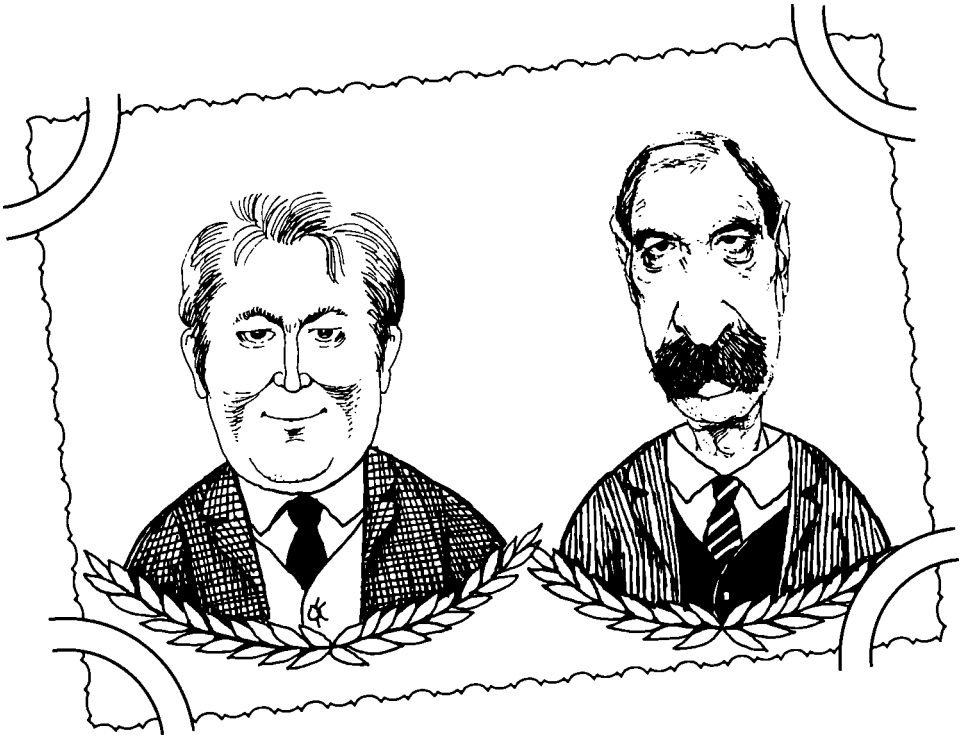
Четыре коротких водочных выпада сыграли свою черную роль. Вася враз превратился в хлам, как никто и никогда. Это была какая-то неизвестная доселе степень опьянения. Может, тридцать седьмая. Может, тридцать восьмая — я не знаю какая. Знаю только, что таковой быть не может.

— Я вчера, случаем, не перебрал? — спросил он на следующий день, поглядывая на меня с подозрением.— А то головка чего-то побаливает.

— Да что ты, Васенька! — поспешил успокоить его я.— Трезв был как стекло!



ГЛАВА 23



Здравствуй, Юрик!

Однажды погожим июньским утром*, когда я, отпаиваясь киселем, приходил в себя после тяжело проведенных выходных дней, тишину сознания прорезал телефонный звонок.

— Добрый день! — прошебетал жизнерадостный (то ли девичий, то ли женский) голос.— Это вас с «Ленфильма» беспокоят.

— Я вас слушаю,— сказал я несколько взбудораженно, так как киностудии нечасто баловали меня своим вниманием, а точнее, никогда.

— Мы хотим предложить вам роль Горького в картине...

— Это неважно, в какой картине,— перебил я,— я всю жизнь мечтал сыграть Горького. Как бы сценарий прочитать?

— А вы сейчас приезжайте,— прошебетал все тот же жизнерадостный женский голос.

Через час я уже читал сценарий, развалившись в кресле помрежа. Я читал его очень внимательно, но никаких следов Горького не обнаружил.

— А где Алексей Максимович? — тревожно спросил я.

— Ах, извините,— сконфузилась помреж и протянула засаленную бумажку, на которой карандашом была сделана следующая запись:

«Допол. к стр. 32. В каб. Сталина входит Горький.

С т а л и н. Товарищ Горький, вот вы написали роман „Мать“?

* Шел 1990 год.— *Примеч. авт.*

Горький. Да.

Сталин. А почему бы вам не написать роман „Отец“?»

Стало грустно.

— Это все? — спросил я.

— Ну почему же все? — обиделась помреж.— Виктор Николаевич (так звали режиссера) просил передать, что полностью вам доверяет. Придумывайте все, что хотите. Чем больше, тем лучше.

В преддверии съемок я только тем и занимался, что сочинял комические сценки с участием Алексея Максимовича Горького, но все это оказалось ни к чему. Виктор Николаевич не отступал от сценария ни на йоту, и любые предложения пресекались им самым решительным образом.

— Это у себя где-нибудь в Титюшах, если будете снимать картину, милости просим — любой бред имеет место быть. Но только там, в Титюшах. А мы здесь делаем кино. Понимаете — кино!

Закончились эти пререкания тем, что у меня было отобрано даже междометие «да», которым Горький отвечал на вопрос Сталина, не он ли, случайно, написал «Мать». В ответ на этот волнующий Сталина вопрос мне, после пререканий, было позволено лишь многозначительно кивнуть. Мол, я написал, а кто же еще?

Судьба так распорядилась, что в эту же фильму на роль Александра I был приглашен Стоянов. Его Александр отличался от Горького только одним: если мой Горький был Великим немым, то стояновскому царю любезно было разрешено сказать три слова, одно из которых было «мудак». Так царь-батюшка и говорил: «Пошел вон, мудак». Негусто, конечно, для самодержца. Но Стоянов утешал себя тем, что первым в советском кинематографе публично с экрана произнес это красивое слово. Я бы даже сказал, что он этим гордился.

Фильм снимался летом в парке. Наши сцены отсняли в первый же день, но режиссер настоял на том, чтобы актеры, невзирая на занятость, все съемочные дни находились рядом.

— Зачем? — спрашивали мы.

— А вдруг понадобится? — весело отвечал Виктор Николаевич.— Мало ли какая дурь мне в голову может прийти!

В один прекрасный день, находясь в ожидании неожиданного прихода обещанной режиссером дури, я притащил сумку. В сумке не было книг. Отнюдь. Там была водка. В это же время из-за кустов величаво выплыл Стоянов с точно такой же сумкой. Доносившееся из ее недр мелодичное позвякивание приятно будоражило воображение.

— Юра, — сказал я, — зачем эти подарки? Сегодня мой день рождения, а следовательно, пою тебя я.

— Как? — изумился Стоянов.— И у меня сегодня день рождения. Я потому столько водки и взял.

Теперь мы оба изумились. Не сговариваясь, мы вытащили паспорта. Я отдал ему свой, а он мне — свой. Каждый из нас долго и критически изучал паспорт товарища. Сомнений не было. Мы родились в один день и один месяц*. Правда, с разницей в десять лет. Но это уже было несущественно.

Один очень известный музыкальный критик, эстет, обаяшка и сердцеед, как-то признался нам:

— Я, — говорил он, — и знать ничего не знал о вашем «Городке». Однажды приехал в Ленинград к одной даме. У нас с ней был давний роман, но встречались мы, как вы понимаете, редко — разные города как-никак. Каждый час ценился нами на вес золота. Да что там час, мы доро-

* 10 июля.— Примеч. авт.

жили каждой минутой, проведенной вместе. Я прилетел вечером, а в двенадцать ночи уже должен был уезжать обратно в Москву. Мы распили наспех бутылку вина, юркнули под одеяло, и вдруг она спрашивает:

— Который час?

— Восемь, — отвечаю. — А в чем дело?

— Сначала посмотрим «Городок», а уж потом все остальное, — сказала она, накинув халатик, змеей выскочила из-под одеяла и бросилась к телевизору.

Сам факт того, что эта, безусловно, рациональная и уравновешенная женщина предпочла несчастным любовным утехам какой-то там «Городок», меня поразило и даже смутило: раньше ничего подобного я за ней не замечал. Ну, не девчонка же она, в конце концов, тринадцатилетняя, уписывающаяся от счастья при виде своего кумира. Во всяком случае, с тех пор, когда на экране появляется ваша заставка, я с содроганием вспоминаю свою полуобнаженную хохочущую красавицу, добровольно предпочтившую двум часам страсти полчаса смеха.

Вот такая душевная история. Невольно напрашивается вопрос: а за что же ж это нас так любят-то, а? За какие такие заслуги? Может быть, за то, что две смешные рожи разыгрывают хохмаческие байки, а наше российское население хлебом не корми — дай поржать. Однако хохмачей нынче развелось видимо-невидимо, и, если бы дело было только в этом, передача просуществовала бы год, максимум два, а потом тихонечко отошла в тень и вскоре совсем сдохла бы. Для того чтобы «Городок» выжил, требовался фанатично преданный ему человек, такой, знаете, Джордано Бруно с телевизионным уклоном. Долго искать его не пришлось: им оказался Стоянов. «Городок» не дает ему спокойно жить, чего, впрочем, ему и не надо. Он готов работать над ним по двадцать четыре часа в сутки и при этом ис-

кренне сожалеть, что нескольких часов все-таки не хватило.

Он доводит до нервного истощения весь, так сказать, коллектив, но, как правило, добивается желаемого результата. Шухер во время съемок стоит страшный, и если не знать, что это снимается «Городок», то, судя по воплям, доносящимся из студии, можно подумать, что это началось массовое вырезание цыган или какой-нибудь другой веками угнетаемой нации. Как он умудряется выстроить монтажный план, поруководить оператором, устроить истерику ассистенту, а после всего без паузы, скоренько переодеться, загримироваться да еще и сыграть, остается непостижимой загадкой. Каждую передачу он делает яростно, будто в последний раз, словно мстя растраченным впустую годам, отданным театру. Он — артист, и ему как артисту было страшно видеть, как артист в нем умирает. Ему хотелось играть. Играть много и часто, а его, как взнузданного коня, держали на всякий случай запряженным в стойле, а воли не давали. И тогда он решил уйти. Решался долго — все надеялся. Даже когда пришел на последний разговор.

Худрук сонными глазами поглядел на заявление и не раздумывая подписал.

— Я думаю — это правильное решение, — сказал он, — в нашем театре у вас перспективы нет.

Для меня по сей день остается секретом, почему, имея в труппе крепкого и к тому же подтвердившего свой профессионализм настоящим зрительским успехом артиста, не использовать его на благо родного театра, а наоборот — сделать все возможное для того, чтобы оттолкнуть от театральных подмостков.

А потом понял — худрук просто не хотел простить ему славы, пришедшей не благодаря театру, а вопреки.

Вне работы он любит быстро ездить на собственном автомобиле, вкусно поесть и хорошо одеваться.

Он обожает прикалываться, и львиная доля приколов, снимаемых в «Городке», придумана им. Но к розыгрышам, в которых он принимает участие в качестве жертвы, относится, деликатно говоря, с прохладцей. Много лет назад мы снимали рекламу для одной финансовой фирмы. Фирма эта строила, как водится, пирамиду, и неискушенный народ тащил туда свои бабулечки нескончаемым потоком. Набрав энную сумму, фирма, как ей и было положено, тут же развалилась и гикнулась в никуда, а денежки так жаждущего обогатиться российского этноса сыграли похоронный марш и сделали ручкой. Нас, в качестве свидетелей, пригласили к прокурору, хотя мы и знать ничего не знали. Стоянов остался монтировать, а я, сев в наш микроавтобус, поехал с шофером Серегой сдаваться на милость следственных органов.

Прокурором оказалась симпатичная такая женщина, которая задала мне несколько протокольных вопросов и, выудив из меня всю нужную ей информацию, отпустила.

— Серега! — сказал я водителю, вернувшись с допроса.— Когда приедем на работу, скажи Стоянову, что дело очень серьезное. Скажи, что меня замели на неопределенный срок и что я попросил его заехать ко мне домой и забрать оттуда теплое белье и деньги. Скажи также, чтобы и свои вещички прихватил — его, мол, тоже вызывают.

Приехав на место, я подло замер у дверей, а Серега, войдя в монтажную, доложил Стоянову все слово в слово с точностью до запятой. Стоянов выслушал сказанное и, как капитан, знающий, что его корабль неминуемо идет ко дну, но не теряющий при этом бодрости духа, бравым голосом объявил всем присутствующим:

— Значит, я сейчас на некоторое время уйду, а когда вернусь — добьем до конца! — И добавил с некоторым надрывом: — Если вернусь, конечно!

Из монтажки он вышел слегка взбледнувши.

— Привет, Юрик! — сказал я.

— Здорово-здорово! — машинально ответил он и, пройдя шагов десять, остановился. Взгляд его выражал полное недоумение. — Тебя что, выпустили?

— Ну как тебе сказать?..

Я несколько застеснялся. Он постоял, медленно соображая, что к чему, и тут до него дошло.

Я умышленно опускаю все те слова и выражения, которые он обрушил в мой адрес. Скажу только одно — не нравится ему, когда его разыгрывают, зато сам это дело очень любит.

Помню, года четыре назад, когда мобильная связь еще была в диковинку, а, завидев господина, разговаривающего из автомобиля по телефону, пешеходы реагировали на него, как жители острова Пасхи на бусы, некая солидная телефонная фирма из любви к искусству подарила нам по трубке. А еще через несколько дней питерская телезвезда Ирочка Смолина, устроив в ресторане пышное торжество по случаю юбилея передачи, которую она вела, пригласила на это историческое мероприятие в качестве именитых гостей и жителей «Городка». Впрочем, именитых гостей и без нас хватало. И от каждого из них за версту разило богатством.

Учитывая помпезность мероприятия и список присутствующих, мы, чтобы не ударить лицом в грязь, прихватили с собой подаренные телефоны. Их холодные пластмассовые тельца приятно оттягивали карман, но, к сожалению, не подавали никаких признаков жизни. Наши потенциальные абоненты, как назло, молчали. Вскоре вполне понятная надежда пустить местному бомонду

пыль в глаза поугасла, и интерес к празднеству в связи с этим несколько поутих. А тут еще и Стоянов неожиданно заторопился, объясняя уход тем, что у него внезапно возникли неотложные дела. «Что это у него за дела в первом часу ночи?» — подумал я.

Мы попрощались, и он, пожелав обществу буйного веселья, степенно, с необъяснимым достоинством покинул ресторанный зал. Ровно через пять минут из моего пиджака раздался долгожданный телефонный звонок.

— Алло! — произнес я несколько громче, чем этого требовали обстоятельства, тем сразу обратив на себя внимание сидящих рядом нуворишей.

— Слышишь ты, мильенщик! — донесся из трубки вкрадчивый стояновский голос. — Это я тебе, засранцу, звоню, чтобы все увидели, что и ты у нас парень не промах и у тебя даже трубка есть.

Сильнейшее раздражение вызывают у него образы тех сотен женщин, которых переиграл в «Городке». Голубая его мечта — заставить меня сбрить усы, чтобы и я, как он говорит, побывал в его шкуре и понял наконец, почему фунт лиха. Так что, если вы хотите занять в его лице злейшего врага, просто скажите ему:

— Юра, как замечательно ты сыграл тетю Клаву в последней передаче!

Смею вас уверить, что этого будет достаточно для того, чтобы он невзлюбил вас на всю оставшуюся жизнь.

Что еще?

Он щедр и одалживает деньги кому ни попадя, годами ожидая возврата долга, так как ему кажется неудобным напоминать, что срок отдачи давно истек. Должники, естественно, в курсе его странной щепетильности и широко этим пользуются.

Он добр, и, если по дороге ему повстречается голодная трехногая дворняга, не сомневайтесь — он обязатель-

но приведет ее в дом, накормит, пришьет ей купленную по страшному блату четвертую ногу, а потом в течение месяца будет очищать квартиру от доставшихся ему по наследству от благодарной сучки блох.

Он... впрочем, достаточно. И без того вырисовывается прообраз эдакого провозвестника светлого коммунистического будущего, божественного посланца, напрочь лишенного каких бы то ни было недостатков.

На самом деле это не так — недостатков у него хватает. Даже с избытком. Но не о них речь. И вообще, как правильно замечено в Библии,— пусть первым бросит камень в грешника, кто сам без греха.

А Библию, между прочим, не дураки писали. Да-алеко не дураки. А я написал это действие в знак признания моему партнеру и товарищу — Юре Стоянову.



ГЛАВА 24,



**В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ,
КАК ВНУК ЗА ОТЦА ОТОМСТИЛ**

Из разговора с внуком:

- Тимоша, ты бабушку любишь?

- Очень.

- А дедушку?

- Ну как тебе сказать?..

Как быстро бежит время. Прошло каких-то 60 лет, а я уже дедушка со стажем. Я — и вдруг дедушка. Именно вдруг, потому что, когда оглядываешься назад (Боже, как банально), кажется, что и не жил еще вовсе, а тут раз — и в дедушки.

Мало того что я дедушка, но и Ирка, подумать только, — бабушка.

Решительно не верю. Но факт есть факт. Держу в руках теплое, только что появившееся на свет тельце и думаю — вот он, наш ответ Америке. Вот она, моя эстафетная палочка, которую мне передал отец, а отцу — его отец, а его отцу — его, и так вдаль, вглубь, по самое не хочу, к началу начал, к пращур, праотцу, зачинателю нашего рода, который так удачно заслал свой сперматозоид в нужное время и в нужное место.

Я любовался сморщенным, похожим на старичка, личиком. Гордо озирал слипшиеся, редкие волосики, поглаживал кривенькие ножки, а Ирина, глядя на идиллическую картинку, только всплеснула руками и счастливо выдохнула: «Боже, ну вылитый дедушка!»

Комплимент, честно скажу, показался мне сомнительным. Вспомнилось письмо, пришедшее в «Городок» от одной такой матери. «Моему малышу, — писала она, — уже два годика. Когда я сажаю его на горшочек и мальчик начинает какать, он очень становится похожим на Вас, дорогой

И. Львович. И соседи, приходя к нам в дом и застав его на горшке, тоже говорят: „Ну вылитый Олейников!“»

М-да! Никогда не думал, что в зрелом возрасте буду похож на какающего малыша.

А ведь права Ирина. Действительно похож на меня. Такой же алчный и смысленый. Когда ему было месяцев пять, еще ходить-говорить не умел, только мяукал по-кошачьи, вывел я его в наш сад. Прогуляться. А надо сказать, что сад я построил, мягко говоря, помпезный. Арабские шейхи лапу сосут. Сад красив какой-то павлиньей красотой. Причем не просто павлиньей, а кричаще-павлиньей. Я думаю, что это подсознательная месть за омерзительное однокомнатное прошлое. И вот несу я свое чадое пятимесячное на руках, несу осторожно, как несет в пустыне страждущий путник драгоценный сосуд с водой, и говорю ему так, чисто по-семейному:

— Ну вот, — говорю, — Тимоха, сдохнет твой дедуля, и все хозяйство тебе достанется.

И вдруг эта несмысленная кроха, это еще не оперившееся существо, этот мяукающий комочек как-то радостно загукал, кулачками замахал и пролепетал что-то вроде:

— Так чего же тянуть, дедуля! Давай уже прямо сейчас.

Нет, ничего подобного он, конечно, не произнес. Но показалось мне, что на его детском языке он хотел сказать именно это.

Если честно, я детей не очень люблю. Точнее, очень не люблю. В этом я схож с Сергеем Михалковым. Но его хоть можно понять. Количество детей, внуков и правнуков перевалило у него где-то за двадцать. Как говорит он сам, у него их так много, что он уже не знает, кто из них его.

У меня в этом смысле картина помягче. И сын один. И внук один. Пока один. И внука моего я никак не соотношу с этим расхожим словом «дети».

Никакие ОН не «дети». Это внук мой. Плоть от плоти моей. Кровь от крови. Неприязненное отношение к детям вообще ни в коей мере не переходит на него. Его-то я как раз люблю. Люблю истово, нервно и безответно.

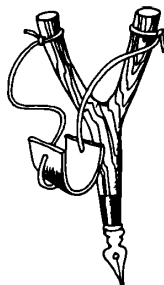
А он меня в упор не видит. При встрече брезгливо обходит стороной, как некий ненужный и дурно пахнущий предмет.

Меня от обиды стало пошатывать, и в порыве праведного гнева я вызвал на аудиенцию сына и в резких тонах высказал все, что накипело по этому поводу. Что ребенок неправильно воспитывается, что у ребенка нет авторитетов, что, вместо того чтобы поцеловать дедушку и бабушку, может встать в стойку, закричать: «Ке-е-й-е!» — и без объявления войны мощно врезать кулачком в нос. Причем больно, так как из своих пяти он уже полтора года занимается тэйквондо.

И, судя по ударам, обучают его хорошо. Согласитесь, избить дедушку — это еще куда ни шло. Но врезать бабушке — это уже моветон. Денис, судя по всему, проникся сочувствием к предкам и провел воспитательную беседу. Через неделю Тимоха, придя к нам в гости, на надрыве проорал из прихожей совершенно не свойственную ему, пропахшую Англией, Черчиллем и протухшей дипломатией фразу: «Здравствуй, дедушка! Очень рад тебя видеть!» Надо сказать, что видеть он меня никак не мог, даже при наличии перископа, поскольку я находился в тридцати метрах от него, в кухне за углом. Но тем не менее я испытал хоть и маленькое, но удовлетворение.

Чего уж греха таить. Приятно, когда тебе симпатизирует огромная страна. Но еще приятнее, когда к любви страны присоединяется любовь детей и внуков. И я верю, что придет такое время, когда Тимка без всяких отцовских нравоучений, без мороки и нотаций придет к нам, обнимет нас своими ручками, и прижмет, и скажет так:

— Здрасьте, бабушка и дедушка! Я очень вас люблю.





Портрет неизвестного



С женой Ирой. Не правда ли, какая красивая пожилая пара?
Это я иронизирую. Типа

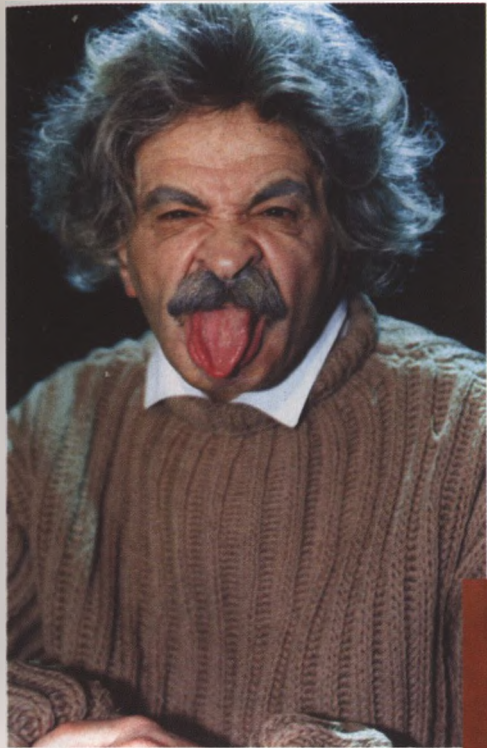


С Никитой Михалковым на его 60-лети



Я и наши с Юрой четыре Тэфи

Без комментариев



Алё! Иван Грозный
на проводе



С Юрой в «Городке»







На съемках фильма «Колхоз Интертеймент». Мою мощную фигуру в центре удачно дополняют с обеих сторон Андриюша Федорцов и Коля Караченцев. Дай бог ему здоровья



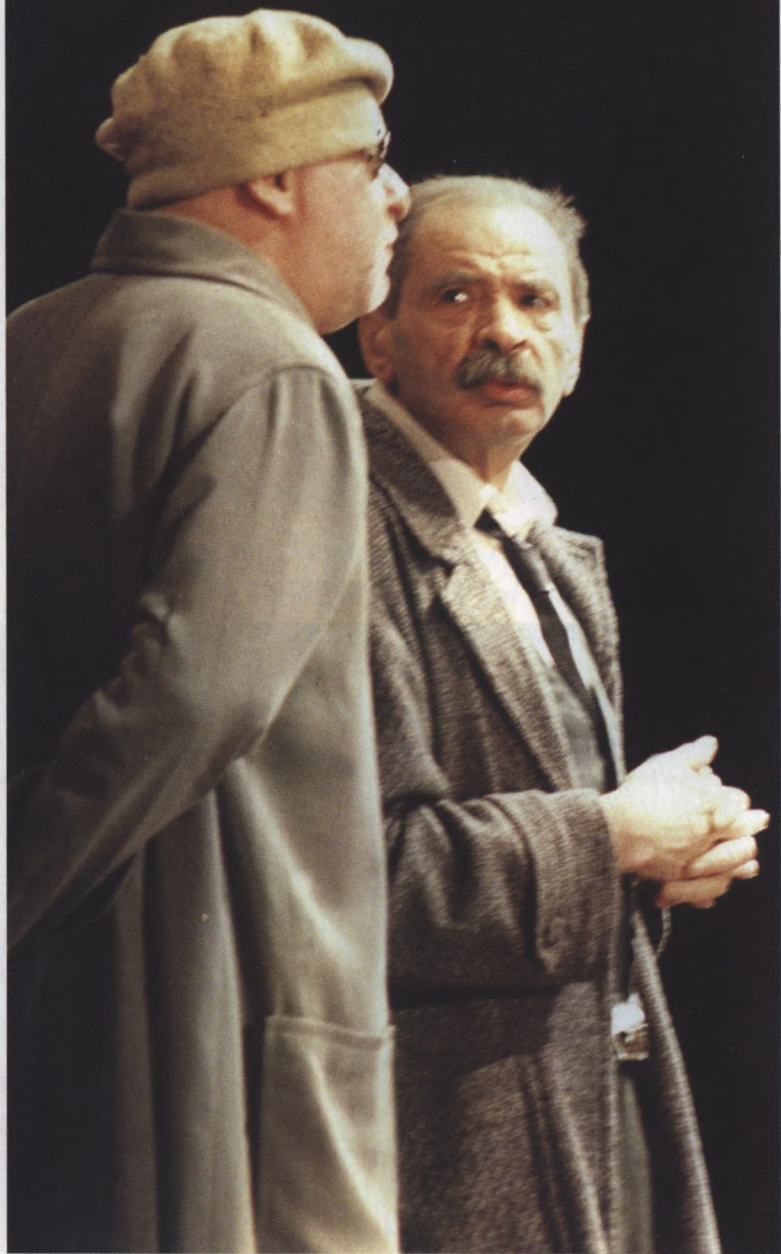
Мои сокурсники: Хазанов, он же Сталин, и Володька Кирсанов, потрясающий чечеточник



С Ольгой Александровной Аросевой
и Сашей Ширвиндтом



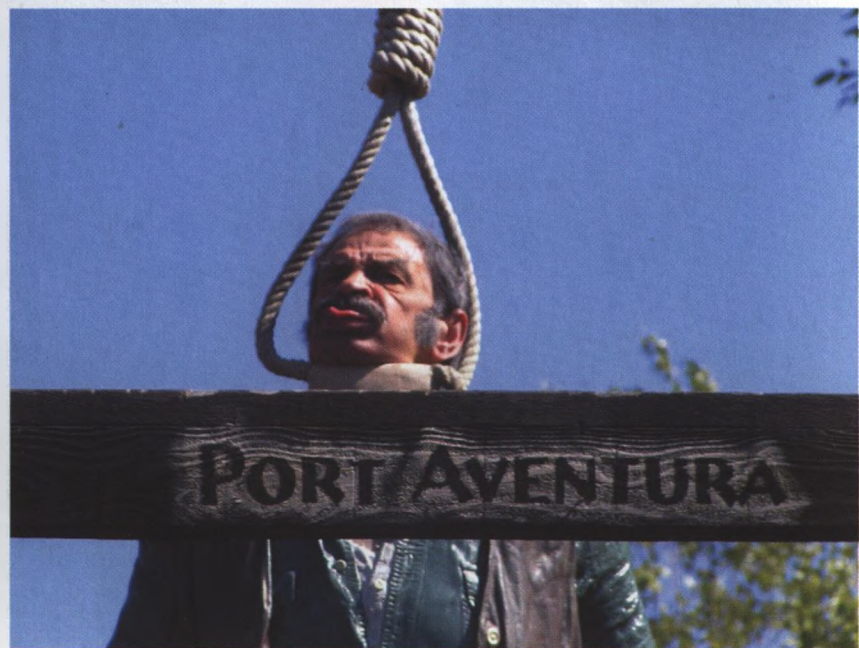
Мои собратья по перу:
Лев Толстой, Федор Достоевский и Салтыков-Щедрин



С Семеном Фурманом в спектакле «Улица Вашингтон»



«12 стульев». Я — Киса Воробьянинов, Людмила Гурченко — мадам Боур





На съемках фильма «Испанский вояж Степаныча»



С Верой Глаголевой на съемках х/ф «С ног на голову»



С безымянной аборигенкой в фильме «Испанский вояж Степаныча»

С Татьяной
Васильевой
в телесериале
«Трое сверху»



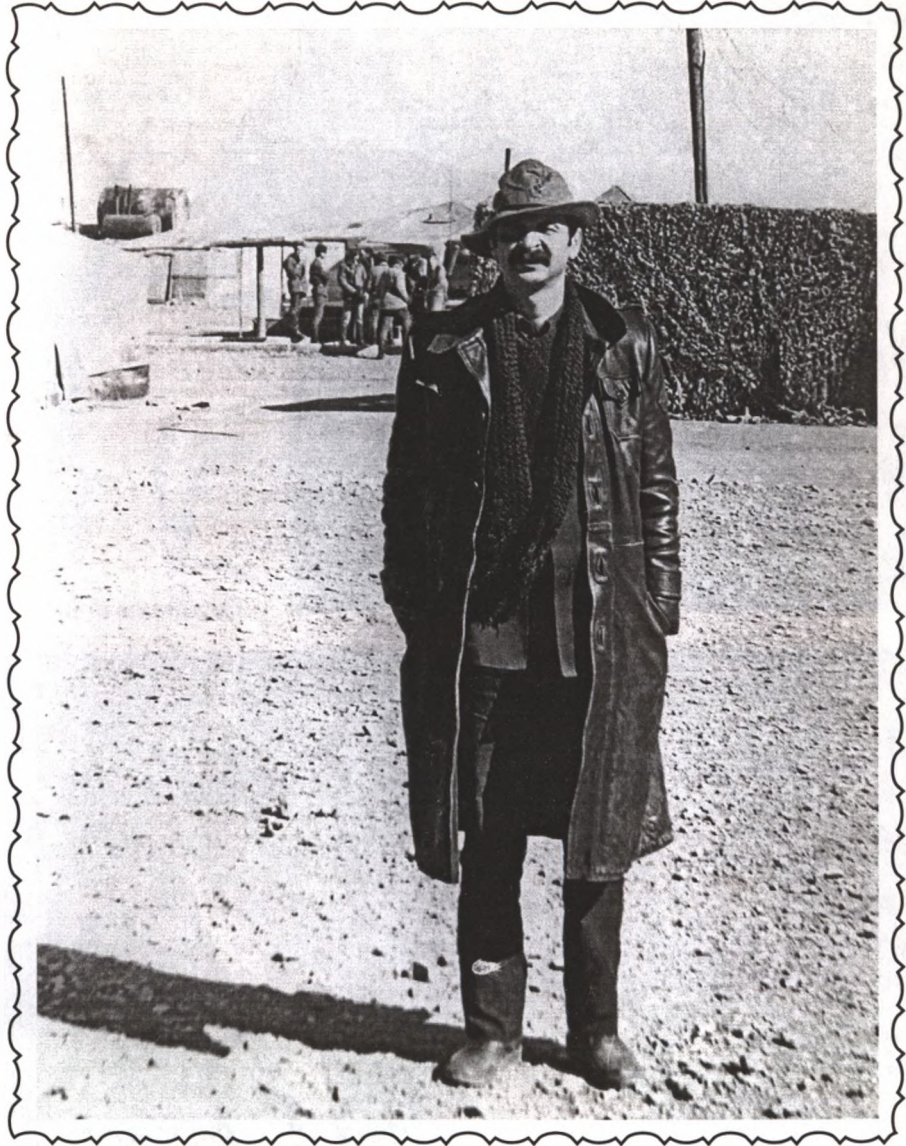
Мои киношные жены и любовницы



В спектакле «Нет ли лишнего билетика?»
с Ромой Казаковым и Володией Винокуром



Мои родители

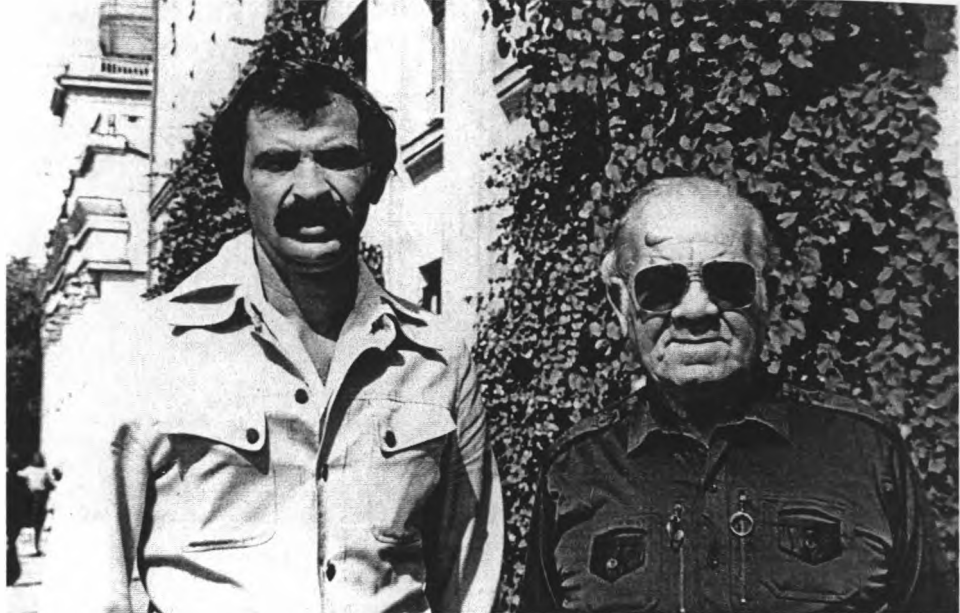


То знаменитое афганское пальто



Окольцевал птичку





С папой перед засылкой
меня в армию



Скрипка и автомат.
Что может быть гармоничнее?



Не плач девчонка!



Показ новой обуви «Версаче-милитари»



- Ну что, старик Сергеич, тяжело тебе?
- Да, Илюша, непросто...



Ребята с нашего двора:
Люська и Милька



Мальчик из «Городка»

ГЛАВА 25,



временно окончательная

Когда я учился в школе, рядом со мной сидел розовощекий, упитанный крепыш Миля Ройтман. Миля был по своему уникальным ребенком. Каждую четверть он непременно заканчивал с восемью двойками. Ни с семью, ни с девятью, а именно с восемью. Учитель физики по этому поводу сказал как-то Ройтману-старшему: «За что я уважаю вашего сына, так это за стабильность».

Я смотрел на Милю несколько свысока, так как больше пяти двоек у меня не бывало. Не стоит и говорить, что Миля был худшим учеником не только класса, но и всей школы. Относясь к нему с некоторым превосходством, я в то же время больше всего боялся его внезапно-го исчезновения или переезда, так как понимал, что слава худшего ученика, случись что-либо подобное, немедленно перекочет ко мне. Однако в погожий апрельский денек 1961 года его родители, не посчитавшись с моим мнением, неожиданно снялись с места и укатили в далекий и загадочный Израиль. Произошло это сразу после полета Гагарина. Весь город тогда пребывал в недоумении, и пейсатые пенсионеры, что собирались на лавочке Пушкинского сада, сутками гадали — то ли Гагарин улетел в космос, не выдержав предстоящей разлуки с семьей Ройтманов, то ли Ройтманы покинули Отчизну в ознаменование полета Гагарина. Каково же было мое изумление, когда, ступив спустя тридцать два года на Землю обетованную, я узнал, что мой сосед по парте круглый двоечник Миля Ройтман является президентом одной из крупнейших израильских авиакомпаний, самолеты которой к тому же совершали регулярные рейсы в Россию. Я

понял, что Миля стал богат. Богат, как Ротшильд! Но мне почему-то стало жалко его денег. Мне показалось, что он, в буквальном смысле, выбрасывает эти деньги на ветер, вместо того чтобы вложить их во что-нибудь стоящее. Например, в «Городок». Обуреваемый страстным желанием помочь другу детства в благородном деле расставания с собственным капиталом, я направился к его офису, находящемуся в центре Тель-Авива. Вскоре я, благополучно воспользовавшись тем, что секретарша куда-то отлучилась, уже стучался в массивную дверь ройтмановского кабинета. Ответа не было. Так и не дождавшись приглашения, я вошел внутрь и, протягивая вперед трепетную длань с пластмассовым ландышем, сверкая как начищенный пятак, бросился к поседевшему соученику.

— Помнишь меня, Миля? — произнес я, всхлипывая от умиления и настырно подсовывая ему под нос сиротливый цветок.— Помнишь, как мы с тобой сидели на одной парте и чуть не остались на второй год?

Ройтман сидел как прикованный. Только рука его невольно потянулась к телефону.

— Как же это? — удивился я его молчанию, чувствуя, что сентиментальное настроение покидает меня.— Вместе на одной парте... Столько лет... На второй год чуть не остались... Я тебя еще Кабанчиком называл, неужели забыл?

— Боже! — ахнул Миля.— Клявер, ты, что ли?

Так он и сказал. Именно Клявер, а не Олейников. Почему? Да потому, что Клявер и есть моя настоящая фамилия, которую я, как и Рома Казаков, вынужден был изменить в силу не зависящих от меня обстоятельств.

— Как прорвать этот идиотский заколдованный круг? — спросил я как-то у Винокура.

— Как-как? — пожал плечами тот.— Возьми Иркину фамилию, и все дела. Тоже мне ребус для даунов.

Я послушался его совета, и на ближайшем концерте меня впервые объявили Олейниковым. Мои родители загрустили, узнав об этом. Особенно папа. Он шумел, скандалил и буянил достаточно долго, но потом смирился с этим печальным фактом, поутих, а спустя еще год настолько привык к моей новой фамилии, что, знакомясь с Аркановым, приехавшим в Кишинев на гастроли, прочистил горло и солидным голосом представился:

— Очэнь приятно. Олейников!

Но вернемся в офис, стоящий в центре Тель-Авива.

— Боже! — ахнул Миля.— Клявер, ты, что ли?

— Ну наконец-то! — облегченно вздохнул я.— Признал все-таки.

Мы несколько театрально обнялись, быстренько сыграли известную гоголевскую сценку: «А повернись-ка, сынку, экий ты смешной стал!» — и я перешел к наболевшему.

— А почему бы тебе, Миля, не привезти в Израиль съемочную группу «Городка»? — спросил я, стараясь придать своему тембру ласкающую слух приятную, бархатную окраску.

— А что я буду с этого иметь? — спросил Миля и, сказав это, скоропостижно скончался в моем мозгу как простодушный двоечник.

Я понял, что передо мной сидит хищник. Расчетливый и циничный. Я тоже решил из себя изображать хищника.

— Во всяком случае, ты ничего не потеряешь,— сказал я, вальяжно развалившись в кресле.— Твои самолеты и так летают в Москву. Прихватишь и нас до кучи. Тем более, насколько я знаю, у тебя и гостиничка имеется на берегу моря. Там и поселишь. Ну, Миля, ну соглашайся по старой памяти, что ли!

Милька побряхтел и согласился. Зародившийся было империалистический хищник тоже приказал долго жить. Теперь в моем мозгу покоились уже целых два трупа Ройтмана — хищника и двоечника.

Прилетев домой, я сразу же позвонил Стоянову. Идея съемки передачи за границей ему понравилась, однако его смущало одно обстоятельство. Какой мы снимем там прикол, и снимем ли мы его вообще? Думал он несколько дней и наконец придумал поставить в Израиле гаишника, который будет тормозить машины с бывшими советскими гражданами и, помурывив их некоторое время, беспощадно оштрафовывать. Правда, возникал вопрос, где этому самому гаишнику стоять и как понять, что в машине едет не настоящий израильтянин, а наш родной, отечественный, свой в доску русский еврей. Пришлось звонить Ройтману в Тель-Авив и поделиться своими сомнениями.

— Ерунда! — обнадежил он. — Не проблема. Поедем в караван.

В моем сознании караван ассоциировался скорее с верблюдами, нежели с евреями, поэтому я поинтересовался у Мили, что это слово означает.

— Караваны, — объяснил он, — это маленькие поселки, в которых селят новых эмигрантов. Они живут там года по два, пока не адаптируются. Я повезу вас в караван, где проживают исключительно бывшие наши. Туда ведет отдельная дорога, и, кроме них, там никто не ездит. Любого можете брать, даже не пикнет.

Первая проблема была решена, но возникала вторая — где взять форму? Мы направились в ГАИ. Гаишный полковник долго тужился, силясь понять, что же нам от него нужно. Он слушал наш сбивчивый рассказ, хмурился, кричал и наконец поставил вопрос ребром:

— Вы мне прямо скажите, кого вы собираетесь разыгрывать — гаишника или еврея?

— Да еврея, еврея, — поспешили успокоить мы.

— Так бы сразу и сказали! — повеселел полковник. — А то ходите вокруг да около. Раз еврея, то это святое дело. На это я даже офицерской формы не пожалею.

И выписал разрешение на получение. Мы аккуратно сложили в чемодан все соответствующие причиндалы, включая португую, номерную бляху «ГАИ Санкт-Петербурга», милицейскую палку, и стали готовиться к отъезду.

Стоянов, как вы помните, обожает придумывать приколы. Придумывать, но не снимать. По этой причине он всегда оттягивает съемку скрытой камерой на последний день, втайне надеясь, что этот день никогда не наступит. Но он наступает. Всегда. И в Израиле он тоже наступил. Очень жаркий и очень знойный. Мы приехали в заготовленное место, и Стоянов принялся натягивать на себя хромовые сапоги, шерстяные галифе вместе с гимнастеркой, затем напялил шинель, обтянулся португеей, нацепил бляху, взял палочку и, встав у дорожного столба, принялся бдеть, время от времени посылая в адрес ни в чем не повинного солнца страшные проклятия.

Должен сказать, что реакция еврейских товарищей на русского постового превзошла все наши ожидания. Они шли на него, как щука на живца, и безропотно отдавали свои шекели. По всему было видно, что приколы получаются, но Стоянова это отнюдь не радовало. Он потел, из уст, как из пасти Змея Горыныча, вырывался горячий смрадный воздух, и иногда мне даже казалось, что в области его головы вьется голубовато-сизый дымок. Раза два он подбегал к стоящему в засаде автобусику, выпивал на ходу чуть ли не литровую бутылку минералки и с обращенным на сей раз не солнцу, а мне воплем «Чтоб ты сдох, предатель!» уносился к посту.

- Я-то здесь при чем? Твоя ведь затея, — оправдывался я.
- Тогда чтобы я сдох! — доносилось с поста.

Часа через полтора он стал похож на выжатую печеную грушу. К тому же его начало раздражать то, что ни один из пострадавших даже не спросил, а по какому, собственно, праву мент со значком «ГАИ Санкт-Петербурга»

оказался в окрестностях Иерусалима и при этом беззастенчиво стрижет с них капусту безо всякого к тому повода. В конце концов он не выдержал и, прижав коленом к капоту очередную жертву, зло просипел:

— Неужели, уважаемый, вас не удивляет, что я чуть ли не посреди пустыни стою в советской милицейской шинели? Это что, у вас в порядке вещей?

— Конечно, удивляет,— откликнулся потерпевший,— еще как удивляет! В шинели в сорокаградусную жару!

Это Стоянова добило.

— Хорош,— сказал он оператору,— снято.

Прикол получился ломовой. Но мне, честно говоря, было чуточку жалко этих мужчин и женщин, с радостью отдающих свои кровные шекели только ради того, чтоб поболтать с русским ментом и узнать, как там дела на родине. Именно так один из них и спросил:

— А как там, на родине?

А мне было неудобно за эту родину. Что ж это за родина такая, подумал я, и почему она отторгает от себя так любящих ее детей своих? И почему отверженные все равно тянутся к ней, как бы она к ним ни была жестока? Наверное, потому, что родина — она как мать, а матерей не выбирают. Мать у ребенка, как известно, одна и на всю жизнь.

Ну вот, собственно, и все. То есть не совсем все, а пока все.

Мне нечего роптать на прошлое. Судьба подарила мне красивую женщину, ставшую моей женой, талантливого сына, классного внука, множество хороших людей и, наконец, профессию, о которой я мечтал с детства. Однако это вовсе не значит, что все у меня обстояло благополучно и я прожил свои шестьдесят, как крыловская стрекоза. Это не совсем так. Точнее, совсем не так.

Есть такой анекдот: приходит на радио письмо. В письме пишут: «Дорогая редакция! Обращается к тебе доярка Нюша Петухова. Недавно в коровнике я познакомилась с

замечательным парнем, комбайнером Васей Гришечкиным. Я провожу с Васей все свободное время. Я хожу с ним в клуб, в библиотеку, в кино, на речку, на танцы, и мне никогда не бывает с ним скучно. А знаешь почему, дорогая редакция? Потому, что Петя любит меня физически. Он делает это в клубе, в кино, в библиотеке, на речке, на танцах – в общем, везде. Вот и сейчас, дорогая редакция, извини за неровный почерк».

К чему это я?

Да все к тому, что меня, как и бедную Нюшу, жизнь частенько ставила во всякие неудобные позы и имела как хотела. Так что, дорогой читатель, извини, как говорится, за неровный почерк.



Оглавление

<i>Михаил Жванецкий. Олейникову</i>	3
Действующие лица	5
Вступление. Просто вступление	6
Еще одно вступление. С легким привкусом сивушных масел.	7
Глава 1. Как я был маленьким.	9
Глава 2. Скорбь о посрамленной первой любви.	15
Глава 3. Казанова и я	21
Глава 4. Пролетая мимо искусства.	29
Глава 5. О Москве, которая за нами	37
Глава 6. Об отце	47
Глава 7. Как я был героем Афганистана.	55
Глава 8. Как я не стал бизнесменом.	63
Глава 9. Спасение угорающих — дело угорающих.	69
Глава 10. Наша жизнь — игра	79
Глава 11. Моя подружка фортуна.	95
Глава 12. Про бедного дядю	103
Глава 13. Бессовестная совесть	113
Глава 14. Как я пошел Родину защищать	121
Глава 15. Жаркий февраль в Сочи.	145
Глава 16. Как я помогал сельскому хозяйству	159
Глава 17. О солдатской любви	179
Глава 18. О гении, которых у нас миллионы.	189
Глава 19. Знакомство с женой	193
Глава 20. Гадкая профессия.	207
Глава 21. Про Рому	227
Глава 22. О пользе пьянства	235
Глава 23. Здравствуй, Юрик!	257
Глава 24. Как внук за отца отомстил.	267
Глава 25. Временно окончательная.	279

Илья Олейников

**Жизнь
как песня,**

или

**Всё
через Жё**

Ведущий редактор *Екатерина Серебрякова*
Художественный редактор *Ольга Бегак*
Технический редактор *Валентина Белева*
Верстка *Татьяны Алиевой*
Корректор *Валентина Леснова*

ООО «Издательство АСТ»
141100, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Астрель-СПб»
197373, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 34,
корп. 1, ЛИТЕР А
E-mail: mail@astrel.spb.ru

Издано при участии ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.2004.
Республика Беларусь, 220013, Минск,
ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие
«Минская фабрика цветной печати».
Республика Беларусь, 220024, Минск, ул. Корженевского, 20.

Илья Олейников

Жизнь Илья Олейникова



Чтобы превратиться из неуверенного, хотя и подающего надежды эстрадного саляги в известного на всю страну обитателя триумфального «Городка», съел Илья не один пуд соли, о чем и повествует его биографическая книжка, смешная, трогательная и, главное, откровенная. Он не боится предстать в невыгодном для себя свете, не боится рассказать о дурацких положениях, в которые нередко попадал. А почему не боится? Потому что умный и добрый. Как писали Ильф и Петров, умный попадает в дурацкое положение иногда. Дурак же находится в дурацком положении всю жизнь...

ИЛИ

Аркадии Арканов

Воспоминания эти — не написанная книга.
Это жизнь, записанная в виде книги.
У каждого такая книга за душой.
Мы были не теми, кем были, и стали не теми, кем хотели.
От этого мат, водка, ложь и хохот в конце от всего услышанного,
и слезы от всего увиденного.
И воспоминания в шестьдесят лет, когда наступил первый покой,
предвестник второго.
Смешнее читать, чем жить.
Так мы писали, так и какали, так и трахались.
А потом разбрелись по земному шару.
А теперь читаем про себя.
Смеемся про себя.

Всё через Жё

Михаил Жванецкий

 АСТРЕЛЬ СПб


ИЗДАТЕЛЬСТВО

